

ПОСЛЕДНИЕ СТРОКИ ЭДУАРДА ПАШНЕВА

Первого января 2021 года из Сан-Франциско пришла скорбная весть: умер известный российский писатель Эдуард Пашнев. Он болел тяжелой формой ковида, был подключен к ИВЛ, долгое время балансировал между жизнью и смертью, но одолеть коварную болезнь не сумел.

Более 50 лет своей жизни Эдуард Иванович был связан с Воронежем. Здесь он родился, сформировался как писатель и в середине 1970-х годов достиг творческого триумфа, итогом которого стало награждение Государственной премией РСФСР имени К.С. Станиславского. В 1966 году он стал членом Союза писателей СССР. Работал в журнале «Подъём» заведующим отделом поэзии и публицистики. В 1981–1983 годах избирался председателем правления Воронежской писательской организации. Впоследствии, переехав в Тольятти, был инициатором создания местной ячейки Союза российских писателей.

Работал Эдуард Пашнев ярко и плодотворно, издал более 30 книг прозы и поэзии, написал порядка 20 пьес, три киносценария.

В начале 2000-х годов он переехал жить по семейным обстоятельствам в Сан-Франциско (США). Но с родиной не порывал, при удобном случае всегда приезжал в Воронеж. И в последние годы искренне радовался восстановившимся творческим связям с нашим журналом, в котором когда-то были опубликованы его первые произведения. Специально к 90-летию «Подъёма» он решил подготовить свои мему-

арные записки «Когда мы были великими». Спешил, напряженно трудился весь год, чтобы успеть к сроку. Наша редакция начала публиковать, как оказалось, последний труд Эдуарда Ивановича Пашнева в двенадцатом номере за 2020 год. И в этом есть символический знак: уходя в вечность, человек возвращается к своим истокам. А нам остается память о нем. Мы будем помнить.

* * *

ЧЕТЫРЕ МОЛОДЫХ ПОЭТА

Поэт из Воронежа Елена Колесникова долгое время жила за границей: в Австралии, в Израиле; сейчас живет в Москве. Скитаясь по городам России, она написала стихотворение, где есть такие строки:

Алексин, Пермь, Рязань, Воронеж
(Воронеж — что греха таить! —
Конечно, рифма «не догонишь»).
И — не догнать, и — не забыть.

Я тоже живу сейчас далеко от родных мест. И потому с удовольствием вспоминаю город и людей, с которыми шел по жизни по воронежским улицам.

Редакция журнала «Подъём» в мое время находилась в старинном особняке на главной улице города — на проспекте Революции. Здесь мы, молодые писатели, встречались друг с другом. Осталось в памяти ощущение уюта не только в журнале, но и в редакциях газет «Коммуна» и «Молодой коммунар», которые тоже находились на этом проспекте. Уютно было и на самой улице, где можно было посидеть в скверике перед университетом, зайти на почту, телеграф.

На почте преподаватели из университета и некоторые писатели имели абонентные ящики. Был такой ящик и у меня — № 29. Я приходил к этому ящику каждый день, как домой, чтобы забрать корреспонденцию, бандероли с книгами.

В середине дня я вышел из редакции «Подъёма», сбежал по лестнице вниз, размахивая большим портфелем. Это было время, когда среди писателей распространилась мода носить рукописи в портфелях. К нам в Воронеж приехал Владимир Солоухин проводить Областное совещание молодых поэтов. Он ходил с огромным портфелем из толстой желтой кожи. Я себе купил такой же. В этот портфель при необходимости входили двенадцать бутылок водки: шесть в одном отделении и шесть в другом.

Дверь внизу была двустворчатая. Я толкнул сразу обе створки. Они широко распахнулись, и я увидел Анатолия Жигулина. Он шел в редакцию журнала «Подъём». Три года назад Жигулин уехал в Москву; жил в столице, печатался в «Новом мире». Все эти три года я его не видел, только читал стихи в журналах и газетах.

— Привет! — обрадовался я. — Ты к нам? Когда приехал?
— Вчера.
— Там Волохов, Анчиполовский... Иди, я сейчас вернусь.
— А ты куда?

— Мне надо на почту.

— Я с тобой.

И мы двинулись по нашей улице не очень быстро. После лагеря Толя быстро ходить не мог. У него была одышка. Он шел, шаркая ногами по асфальту.

— Слушай, Толя, — сказал я не очень решительно. — Я собираю документы для вступления в Союз писателей. Дашь рекомендацию?

— Купишь стакан вина, напишу.

Он ответил цинично, но с улыбкой.

— Куплю, — улыбнулся я.

Мы миновали телеграф, Дом книги, поравнялись с пустым пространством между домами — смотровой площадкой, с которой открывался вид на левый берег. Здесь стояли столики под открытым небом, сбоку поблескивал стеклами павильон-он кафе «Улыбка». Я решительно направился к дверям. Толя прошел дальше, сел за пустой столик у самой балюстрады.

Из павильона я принес бутылку красного, закуску на двух тарелочках: колбаса, сыр. Разлили вино. В портфеле у меня нашелся стандартный лист бумаги. Анатолий Жигулин отпил немного из своего стакана, вынул из верхнего кармана шариковую ручку и быстро написал размашистым почерком несколько строк. Потом он допил вино. Остаток из бутылки вылил в свой стакан. Я знал, что у него с этим... проблемы. Жизнь в лагере поломала его, покорежила. И он становился наглым и циничным, когда ему хотелось выпить.

Рекомендацию я бережно спрятал в портфель. Какие там были слова, не помню. Не догадался переписать и сохранить в своем архиве.

Вторую рекомендацию мне дал Владимир Гордейчев. Третью я взял у главного редактора журнала «Подъём» Федора Волохова.

Проспект Революции был привычным продолжением редакции журнала «Подъём», газет, почты, телеграфа, книжного магазина. А в период, когда я работал над романом «Девочка и олень», добавилось еще одно знаковое для меня место: Дорожный дворец Екатерины Великой, в котором устроили музей изобразительного искусства.

В журнале «Юность» была напечатана моя повесть «Ньютоново яблоко» с уникальными рисунками тринадцатилетней Нади Рушевой. На страницах повести были помещены двенадцать ее рисунков. А через несколько лет гениальная московская школьница неожиданно умерла — аневризмом сосуда головного мозга.

В Дорожном дворце Екатерины состоялась выставка художников «Мурзилки». Мы шли с этой выставки по проспекту: известный живописец Ксения Успенская, режиссер телевидения Белла Немировская и я. Обсуждали печальную новость: внезапную смерть юной художницы Нади Рушевой.

— Ты должен написать о ней книгу, — сказала Ксения Успенская.

Я подумал: «Должен?..» В этом слове была оценка таланта девочки, которая умерла в 17 лет. Я поехал в Москву, чтобы повидаться с родителями Нади Рушевой. Отец был печален, но согласился представить мне все необходимые материалы, чтобы я начал работу. В конце разговора он решил сделать мне подарок. Завел в узкую кабину туалета. У стены, почти вплотную к унитазу стояли большие листы. За свою короткую жизнь Надя создала больше 10 000 выставочных рисунков. Эти (около унитаза) были приготовлены на выброс.

— Можете взять что-нибудь отсюда, — сказал отец.

— Сколько?

— Сколько хотите.

Я отобрал 50 листов. И на второй день после возвращения из Москвы пришел с рисунками в музей. Я хотел только узнать мнение специалистов. Но сотрудники музея предложили сделать выставку. Все рисунки одели в рамы, за-

стеклили. Выпустили каталог. Открылась выставка. Приехал отец Нади. Он удивился тому, что уже выброшенные в туалет рисунки так хорошо смотрятся под стеклом и в рамках. Через месяц снова приехал, забрал выставку и повез по городам. Около года длилось это путешествие. Ко мне рисунки уже не вернулись.

Уютно мы жили на главной воронежской улице — на проспекте Революции. Нынче этому проспекту вернули прежнее название: Большая Дворянская. Эта часть улицы — от театра драмы и до здания Юго-Восточной железной дороги — была прогулочной. И мы тут гуляли группой в три-четыре человека, встречались со знакомыми, обсуждали литературные новости, читали стихи свои и чужие. Иногда во время этих прогулок, зацепившись за слово, за рифму, сочиняли всякие шутки в стихах, соревнуясь в экспромтах. Если не было в карманах бумаги, чтобы записать удачно сочиненное, заходили на Центральный телеграф, записывали свои опусы на обороте телеграфных бланков.

Мы знали все трещины и заплатки на тротуаре главной улицы, все архитектурные особенности старых и новых зданий. Мы учились видеть то, что в обычной жизни люди не замечают. Универмаг под яркой зеленой вывеской показался мне таким красивым, что я даже потрогал его за угол рукой. Из этого прикосновенья к шершавому камню возникли стихи...

ГОРОДСКАЯ ОСЕНЬ

Встречает, улыбаясь, постовой
Осенний вечер, как и всякий парень...
Блестят огни на мокрой мостовой,
Блестят огни на мокром тротуаре.
Универмаг под вывеской зеленой
Такой хороший, чистенький такой,
Что я остановился удивленный,
Потрогал его за угол рукой.
Осенний ветер мелочь брызг разносит,
Играя переливами огней,
И люди, понимающие осень,
Во все галоши хлюпают по ней.

Нас было трое: Олег Шевченко, Виктор Панкратов, Эдуард Пашнев. Иногда присоединялся Роман Харитонов, возвращаясь после плавания на сейнерах с рыбаками в Черном и Азовском морях или прилетая из тайги, где прокладывал рельсы железной дороги...

Молодые писатели всегда объединяются в группы. Очевидно, в этом есть какая-то закономерность и необходимость. Чтобы, как писал А. Пушкин, «для звуков жизни не падить», нужно не только гражданское мужество, но и литературная мастерская для работы над словом. И поэты сами для себя ее создают: мастерскую под «Зеленой лампой» в особняке или под звякающим отражателем на столбе в парке.

Нашу группу в начальный период называли «Рабочие поэты». Мы все днем работали, а вечером шатались по городу и орали деревьям и фонарям стихи во весь голос. Это у нас была такая уличная мастерская для работы над словом, где ритм вырабатывался шагами, как учил Маяковский: «Левой! Левой! Левой!»

Вышло собрание сочинений Маяковского. Я в магазине подписных изданий получал вишневого цвета тома по подписке. Мы собирались у Олега Шевченко или у Виктора Панкратова дома, читали горлана и главаря, рассматривали его фотографии. Олег сказал:

— Давайте напишем стихи, посвященные Маяковскому, и через два дня встретимся — почитаем.

Мы тогда часто соревновались таким образом: у кого лучше получится. Это было задание на дом.

Получилось только у Виктора Панкратова.

МАЯКОВСКИЙ РАННИЙ

Словно гладиатор в Древнем Риме
К стае злобно воющих зверей,
Дерзкий, выходил, непримиримый,
Ранний Маяковский из дверей.

Под бровями чуточку раскошены,
Грозные и жуткие глаза
Так сверкают в публику роскошную,
Что невольно затихает зал.

Стих метался в полутемном зале,
Рифма будоражила и жгла.
А поэт в светлеющие дали
Зашагал сквозь годы и дела.

— Ты ему товарищ, — ветер, ветер!
Спой, перебирая провода,
О земле, о людях, о поэте
И о той, что не пришла тогда.

Вклеен в толщину томов навечно,
Но совсем живой — такой, как вы,
Бродит он, пока никем не встреченный,
На просторных улицах Москвы.

Деловитый, все такой же дюжий,
Беспокойный, молодой и ранний,
Он идет, расплескивая лужи
Мемуаров и воспоминаний.

Виктору самому нравились его стихи о Маяковском. Он орал их при каждом удобном случае деревьям и фонарям. Носил листочек с текстом в боковом кармане пиджака. Пытался читать девушкам, с которыми хотел познакомиться.

— Здравствуйте, девушка! Хотите, скажу, как вас зовут?

Девушка не ответила, ускорила шаги. Виктор, шагая рядом, начал декламировать стихотворение «Маяковский ранний», жестикулируя, чеканя ритм хорошо поставленным голосом. А когда они все-таки начали разговаривать, подарил незнакомке листок со стихами. Девушка оказалась дочерью Максима Подобедова, главного редактора журнала «Подъём».

Сам Максим Михайлович писал толстые романы, ныне прочно забытые. Про него ходила эпиграмма, которую сочинил Павел Касаткин. Появилась эпиграмма при забавных обстоятельствах...

Максиму Михайловичу исполнилось 85 лет. Он позвонил Касаткину и говорит:

— Слушай, Павел, мне исполнилось 85 лет. Ты бы написал обо мне стихи. А я в долгу не останусь. Как ты относишься к богу Бахусу?

— Я — атеист, — сказал Павел Касаткин. Потом позвонил Виктору Панкратову:

— Вить, а кто такой Бахус?

— Паша, это бог веселья, самый главный виночерпий.

— Ох, ты! Зачем же я отказался?

И Павел Касаткин решил написать стихи. Принялся бормотать, подбирая рифмы:

— Подобедов — отдава; Подобедов — пообедав...
И, наконец, сложились две строчки:

Читать нельзя, не пообедав,
Того, что пишет Подобедов.

Девушка, с которой познакомился Виктор Панкратов, могла бы листок с его стихами выбросить. Но она его принесла домой, положила на круглый стол в холле. Отец, как всякий отец, заинтересовался листком со стихами, которые его дочь принесла с улицы. Некоторое время читал, наклонившись над столом, затем взял листок в руки:

— А это у тебя откуда?

— Привязался какой-то парень, смешной. Начал читать стихи. Подарил стра-
ницу.

Стихи были отпечатаны четким черным шрифтом на хорошей пишущей машинке. Максим Михайлович прочел стихи внимательно, как редактор. «Маяковский ранний», расплескавший лужи мемуаров и воспоминаний, понравился Максиму Михайловичу. Он помнил: поэт-громовержец осенью 1926 года приезжал в Воронеж. Выступал в театре. Некоторые писатели и он тоже были на этом выступлении.

В тот же день Подобедов принес стихи в редакцию и поставил в номер. Но одного Панкратова не стали печатать. Поместили рядом стихи Олега Шевченко и мои, вспомнив, что мы из одной группы: «Рабочие поэты». Так, благодаря Виктору Панкратову и Маяковскому, в январе 1958 года состоялся наш общий дебют в толстом журнале.

ЖУРНАЛ «ПОДЪЁМ»

ФЕДОР ВОЛОХОВ

(Главный редактор)

Максим Подобедов был первым редактором «Подъёма» (1931–1935 годы). Перед войной журнал перестал выходить. Вместо него выпускали альманах «Литературный Воронеж». Главным редактором был все тот же Максим Подобедов.

В 1957 году возобновили издание журнала «Подъём», и снова главным редактором назначили Максима Подобедова.

Мы («Рабочие поэты») только один раз напечатались у него. Вскоре Подобедов сменил Константин Локотков. А затем в кресло главного редактора уселся все-
рьез и надолго Федор Волохов.

В 1962 году Литературный институт прислал меня на практику в редакцию журнала «Подъём», поскольку я был из Воронежа и в моем родном городе выходил толстый журнал. И с тех пор, почти 10 лет, до 1971 года (с перерывами) я работал под руководством шумного, грозного Федора Сергеевича Волохова в отделе поэзии и публицистики.

КОВЕР

Литературно-художественный и общественно-политический журнал города Воронежа финансировался Центрально-Черноземным книжным издательством. В конце года у издательства остались лишние деньги. Если их не потратить — спишут. Директор издательства Долженко позвонил Волохову:

— Федор Сергеевич, деньги остались. Вам ничего не нужно для «Подъёма»: мебель какая-нибудь, столы, шкафы?

— Нужно! Давай! Мы реализуем! — обрадовался Волохов.

И реализовали. Успели в последние дни октября купить два больших стола и огромный настенный ковер за 600 рублей. Ковер был болгарский, ручной работы, с большими белыми кистями по краям. Кабинет главного редактора заставлен, свободной стены нет.

— Стели на пол! — приказал Волохов.

Ковер с бахромой по краям выглядел на полу странно. Решили подвернуть бахрому под ковер. Топорщатся края, и выглядит шикарный ковер каким-то обрезанным, потерявшим всю свою настенную красоту.

— Выпускай бахрому! — приказал Волохов. — Пусть топчут, — и засмеялся.

В конце рабочего дня, когда почти все сотрудники собрались в кабинете главного редактора, не по делу, а так — поболтать о том о сем, Волохов закурил, откинулся на спинку кресла, сказал удовлетворенно:

— Хороший кабинет получился. Мы уйдем, а кабинет останется. Люди будут сидеть, благодарить будут...



Федор Волохов

СГОРЕЛ НА РАБОТЕ

У Волохова всегда в кабинете люди. Писатели травят байки, курят — дым столбом. Мне нужно было срочно поговорить с главным редактором о подборке стихов Алексея Прасолова.

В приемной секретарь-машинистка Анастасия Степановна быстро печатала на машинки с длинной кареткой какую-то рукопись. Спрашиваю:

— Федор Сергеевич у себя?

Ответила, не отвлекаясь от работы.

— У себя.

Толкнул дверь в кабине, вижу: он пуст. А над столом редактора густой синий дым. Понимаю: накурил с помощью своих друзей-писателей. И куда-то исчез, секретарь даже не заметила. Остался один дым, так сказать, сгорел на работе.

НА СВЕКЛУ

Позвонил директор издательства Долженко:

— Федор Сергеевич, одного человека надо послать на свеклу.

— Кого? — сердито спросил Волохов.

— Наверное, Пашнева... Молодой, пусть поможет сельскому хозяйству. Сам понимаешь, без свеклы борща не бывает.

К моему удивлению, Волохов возмущился:

— Я не могу послать Пашнева на свеклу. Он практикант из московского Литературного института. Матюшина я не могу послать: он — больной. Саша Гридчин — инвалид Великой Отечественной войны. Зиновий уезжает в командировку. И он тоже больной. Самому разве поехать на свеклу, чтобы обеспечить советскому народу борщ со свеклой?

ЯБЛОКИ

Я подготовил подборку стихов Корнеева, принес рукопись в кабинет главного редактора. Волохов любил читать стихи, отмечал удачные метафоры:

— Это хорошо, — показал он мне какую-то строфу.

— Все хорошо, Федор Сергеевич. Вся подборка хорошая.

И тут моя жена, Елена, позвонила прямо в кабинет главного редактора. Видимо, Анастасия Степановна сказала ей, что я в кабинете у Волохова.

— Это ты, Елена? — спросил Федор Сергеевич. — Что у тебя? — и через паузу: — Передаю.

Он передал мне трубку.

— Эдди, это я. Я сейчас на Студенческой. Бери портфель и иди ко мне навстречу.

— Елена, ты чего звонишь? Я в кабинете главного редактора, сдаю стихи в номер.

— Никуда не денется твой номер, иди навстречу ко мне с портфелем.

— Зачем?

— Я купила яблоки — заберешь.

— Елена, я на работе. В моем кабинете меня ждет автор — Людмила Дербина. Зинвий Анчиполовский о чем-то хочет со мной поговорить.

— Иди сюда с портфелем для яблок, или я сейчас их брошу, и пусть катятся ко всем чертям.

— Хорошо, я сейчас спрошу у Волохова, — сказал я и поторопился положить трубку.

Волохов откинулся на спинку стула и смотрел на меня весело.

— Что? — сказал он. — Это Елена. Я ее знаю.

— Похоже, Федор Сергеевич, я сейчас не могу заниматься редакционными делами. Жена купила яблоки и требует меня с портфелем, чтобы я их забрал.

Как ни странно, Волохов правильно понял ситуацию.

— Жена — это серьезно, — сказал он, — Иди, иди...

РУКОПИСЬ ЕВГЕНИЯ ТИТАРЕНКО

К Волохову ходят сразу несколько авторов. Он взял у них рукописи, обещал прочитать, но не читает. Тем не менее, ухитряется всем говорить что-нибудь успокоительное, чтобы надеялись и ждали.

Приходит Евгений Титаренко:

— Здравствуйте, Федор Сергеевич.

— Здоров, старик. Как жизнь?

— Да вот пришел узнать: не прочитали мой роман?

— Прочту, прочту, не волнуйся.

Через неделю Титаренко снова появляется в редакции журнала. Продавливает дверь кабинета и, еще находясь в проеме, в узкой щели, снимает шляпу:

— Ну, как, Федор Сергеевич?

— Вынул уже из папки, — бодро отвечает Волохов.

Титаренко приходит еще через три дня.

— Не прочитали?

— Сегодня положил на ночной столик. Как будет бессонница, прочту. Не волнуйся.

И вот Титаренко ходит в редакцию через каждые три дня и ждет, когда у Волохова начнется бессонница.

Евгений Титаренко защищал диплом в Литературном институте романом «Обвал» — о шахтерах. Предложил журналу.

Шубин написал отрицательную рецензию. Титаренко принес новый роман «Огнепоклонница».

Федор Сергеевич, как обычно, долго не мог прочитать рукопись. А Титаренко ходит в редакцию и вздыхает. Сегодня тоже пришел. Сел напротив стола, поджал под стул потрепанные ботинки. На коленях зеленая тирольская шляпа. Усы в волнении подрагивают.

Я посмотрел на Волохова, на Титаренко, потом говорю:

— А вот, Федор Сергеевич, Евгений Титаренко.

— Знаю я этого типа. Проходу не дает. — И к нему: — Ну, что хочешь — соглашение заключить?

Тот жалобно:

— Да.

— Скажи Матюшину, пусть напишет в двух экземплярах.

Титаренко как ветром сдуло. Шляпу забыл на стуле. Пока Матюшин заполнял три бланка соглашения, у Титаренко на выпуклом лбу появились капельки пота.

СТАРУХА-ГРАФОМАНКА

Пришла старуха-графоманка, прорвалась к Волохову в кабинет, поставила на редакторский стол базарную сумку и давай оттуда вынимать клочки рукописей. Кладет перед главным редактором одну растрепанную, измазанную чем-то тетрадку, другую, потом клочок бумажки со стихами. Одновременно объясняет:

— Я про все на свете могу написать. Читали на заборе: «Накопил и машину купил». Это я написала.

Волохов задвинул возмущенно животом полуоткрытый ящик стола и голосом ящика рявкнул:

— Я тоже могу про все сочинять: накопил — и пропил!

ЮРИЙ ВОИЩЕВ

Иногда Волохов приходит с намерением все изменить в руководимом им журнале. Прежде всего, навести порядок. В обычные дни его кабинет — проходной двор. Дверь не закрывается. Тут он вдруг объявляет секретарше, чтобы к нему без доклада не входили.

Вызвал меня, спросил, какие есть стихи в портфеле для будущего номера. Я ему доложил.

Вошел, как обычно, вразвалочку Юрий Воищев. Федор Сергеевич посмотрел на него искоса и, выстрелив рукой в сторону книжного шкафа, спросил:

— Твое там лежит?

На шкафу лежала шапка, а в ней голубое кашне.

— Мое, Федор Сергеевич.

— Забирай. Что это такое? Приходят в «Подъём», как к себе домой. Всем, кому здесь нечего делать, идите отсюда, не мешайте работать.

Все ушли, я тоже ушел. Через некоторое время Волохов появился в моем кабинете, куда переместились все, кому нечего делать. Входит, улыбается. Начинает рассказывать, как в Вене во время Великой Отечественной войны они захватили винный погреб.

— И у меня стоял всегда бочонок вина...

Иногда Волохов вспоминал свою писательскую молодость, встречи с известными и опытными мастерами, не только писателями. Во время всесоюзных семинаров, которые проводились в Москве, побывал он с группой молодых писателей в мастерской Грабаря. На стене висела небольшая картина. Грабарь подошел к ней, постоял, потрогал рукой раму, будто погладил изображенного на картине человека.

— Вот вы, писатели, должны были бы его знать. Как, по-вашему, кто этот человек. По характеру?

Ему никто не ответил. На лицах было недоумение. Грабарь сказал:

— Это Клюев. Он сейчас в заключении. Ударник и даже хорошо питается.

И еще запомнилось Волохову. У этого художника и реставратора была картина, в которой изумительно были нарисованы три фигуры, три женщины. Но вместо голов — пустоты, очерчены лишь приблизительные абрисы. Волохов спросил:

— А почему у этих женщин нет лиц?

— Понимаете, я писал эту картину, потом меня что-то отвлекло. И вот не могу теперь написать их лица. Я их забыл... Забыл.

БАЯНИСТ

Кончился праздничный вечер в Союзе писателей. Все разошлись, баянист уложил баян в футляр. Вышел в коридор размяться. Навстречу Волохов, животом вперед:

— Сыграй марш! А я пройдуся!

— Уже упаковал.

— Не хочешь, а зачем пришел?

И животом вперед наступает на баяниста. Тот пятится, беспомощно оглядываясь по сторонам.

Волохов повернулся к нему спиной, снял с вешалки свой плащ. Он не собирался слушать музыку, домой собрался. Баянист начал бы играть, а он пошел бы домой под какой-нибудь марш, печатая шаг. Хорошо выпил, хорошо придумал. Но баянист уже упаковал в футляр свою музыку.

Федор Сергеевич спустился по лестнице, Захлопнул внизу дверь подъезда. Может быть, сильнее, чем следовало. Приглашенный музыкант не захотел сыграть марш редактору, уходящему домой в хорошем настроении.

Баянист некоторое время стоял неподвижно, недоумевая. Весь вечер задаром играл, был счастлив: писатели пригласили. И на тебе: зачем пришел?

ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОНУ

Волохов запил. Пьяный он любил звонить в редакцию журнала, иногда в свой кабинет, где никого не было. Но в этот раз я находился в кабинете. Мне нужно было позвонить в Москву. А это можно было сделать только с телефона главного редактора.

Звонок! Я поднял трубку:

— «Подъём».

— Кто? — как выстрел, раздался голос Волохова.

— Пашнев.

— Гриша, зачем ты туда попал?

Григорий Никифорович Пашнев, мой родной дядя, работал в университете, кажется, он был историком. Поскольку мой отец ушел из семьи, Григорий Ники-

Форович никаких родственных чувств ко мне не испытывал, и мы, живя в одном городе, даже ни разу не встретились.

— Это не Гриша. Это я — Эдик.

— А-а-а... Позови Степановну.

Я позвал Анастасию Степановну, секретаря-машинистку, и вышел из кабинета. О чем они говорили, не слышал.

ФЕДОР ВОЛОХОВ ДОМА

Дома Волохов любил обходиться абсолютным минимумом одежды. Вдруг — звонок. Приоткрыл дверь, выглянул в щелку. Видит: пришел писатель Булавин. Распахивает дверь широко, похохатывая всеми своими голыми телесами, спрашивает:

— Что случилось?

— Болею.

Показывает руками, что в голове у него делается черт знает что.

— Сейчас сообразим, — говорит Волохов. Одевается, берет деньги и на мгновение задерживается у книжной полки. Его жена только вчера получила первый том «Медицинской энциклопедии». Берет этот том, протягивает Булавину:

— На, почитай, пока я буду ходить. Здесь — большая статья про алкоголиков. Я уже ознакомился.

Ходил он долго, а когда вернулся, Булавин вскочил со стула и всплеснул руками:

— Слушай, откуда они все знают? И про потение, и про видения, и про страх...

Через минуту они мирно похрустывали малосольными огурчиками.

Жена Федора Сергеевича уехала отдыхать. Наш главный редактор остался один в квартире. Жена предусмотрительно убрала в кладовку ковер из большой комнаты. Спрягала все бьющиеся вещи, заперла их в своей комнате на ключ.

Свободой Федор Сергеевич воспользовался в полной мере, всецело отдавшись неразрывной дружбе с Бахусом. Корректор журнала, Ася, подготовила все материалы в очередной номер. Осталось только составить содержание и поставить визу под каждым рассказом. Но Волохову было не до этого. Наступил день, когда главный редактор должен был прийти и подписать номер в печать.

Матюшин, зав. отделом прозы, позвонил ему, сказал:

— Федор Сергеевич, у нас все готово.

— Сейчас приду.

Через некоторое время Волохов позвонил Асе и сообщил:

— Дошел только до базара и вернулся. Нога. Пусть Матюшин принесет номер.

Матюшин собрал все материалы в папку, сказал мне:

— Пойдем вместе.

Среди рукописей, подготовленных в номер, был и мой роман «В году 13 месяцев».

Федор Сергеевич приоткрыл дверь, но не сразу пропустил нас в квартиру. Некоторое время подслеповато смотрел из коридорчика:

— Матюшин?

— Да, это я, Федор Сергеевич.

— Кто с тобой?

— Пашнев, — ответил Матюшин.

— Пашнев? — Федор Сергеевич хохотнул. — Пашневу можно. Я думал, кто-нибудь другой. Тому нельзя.

Мы вошли, я сел в кресло. Матюшин всей своей огромной тушей опустился на

маленькую круглую банкеточку. Она под ним треснула, и он повалился на тумбочку с телевизором.

Волохов, как обычно, был в одних трусах. Трусы эти он лихо закручивал на бедрах. Получалось что-то вроде плавок. Его огромный живот без одеяний все время колыхался, сваливался на бок. Федор Сергеевич поправлял его руками. Поредевшие волосы не могли прикрыть наготы черепа. Главный редактор был, так сказать, голый с головы до пят.

Похохатывая, он держал обеими руками живот. Тот, однако, был настолько живой, что во время особенно бурных приливов смеха вырывался у него из рук и начинал мелко, мелко трястись. Тогда Федор Сергеевич выпускал его из рук и с удовольствием похлопывал себя ладонями по ляжкам.

— Иван, — сказал он к Матюшину, — я не знал. Оказывается, я могу увольнять своей рукой. — Затем повернулся ко мне и объяснил: — Я люблю увольнять. Я никого не уволил, но я люблю увольнять. Сегодня утром я лежал и думал, кого бы мне уволить? И решил уволить Володьку Гордейчева. — И снова обратился к Матюшину: — Нет, Иван, ты представляешь, я не знал, что могу увольнять сам.

Он говорил шутливо. Но я знал, наш главный редактор, иногда бывал очень сердит и начинал увольнять сотрудников журнала. Чаще всего это были корректор Ася и заведующий отделом прозы Иван Матюшин.

Но проходил гнев, зачастую ни на чем не основанный, и он забывал, что их уволил. Начинал шутить, заигрывал с Асей, выпивал с Матюшиным.

Однако «Володьку Гордейчева» ему, действительно, хотелось уволить. Волохов подозревал, что тот хочет занять его кресло. Владимир Гордейчев был реальным соперником. Известный поэт, он хотел и мог бы руководить журналом. А пока руководил отделом поэзии. В данный момент был в длительной командировке. Я его замещал. Волохову сладка была мысль, что он сам может уволить любого сотрудника. И он снова и снова возвращался к мысли о необходимости уволить именно «Володьку Гордейчева».

— Гридчина не могу уволить, он председатель профкома. Тебя, Иван, не могу уволить, потому что ты зам. парторга. Остается Володька. Уволю. Я сегодня все утро подбирал формулировку. Я люблю подбирать формулировки.

Потом мы пили вино из чайных чашек и заедали его дыней. И все это продолжалось до тех пор, пока Волохов не упал на бок, пробормотав:

— Спать буду...

Номер в развязанной папке остался лежать на диване, в ногах у главного редактора.

На улице мы попрощались с Матюшиным. Я пошел в редакцию пешком. У телеграфа, на тротуаре, стояла бочка с квасом. От небольшой очереди отделился с кружкой в руке поэт Паша Касаткин. Он остановил меня кружкой с квасом, протянув ее вперед так, чтобы получился шлагбаум.

— Ну, как? Подписал, волосатый, мои стихи в набор?

Я смотрю на него, не понимаю, о ком он спрашивает. Не сразу догадался: так он называет Федора Сергеевича Волохова.

Для меня — пузатый, для него — волосатый... Портрет главного редактора, написанный усилиями двух авторов.

КАК ВОЛОХОВ ЯЗВУ ЛЕЧИЛ

Жена у Волохова врач. Но Федор Сергеевич к врачам не обращался, не слушал советы жены, лечил себя сам. Как только у него начинал болеть живот, открывал энциклопедию, читал главу «Язва». Но пить не переставал. Заглушал боль питьевой содой.

Пришел на работу в «Подъём» однажды веселый. Увидел своего заместителя Александра Гридчина, поздоровался с ним за руку, громко хлопнув ладонь об ладонь:

— Сашка, ты знаешь, сколько я принял внутрь за месяц питьевой соды? Килограмм. Живот у меня больше не болит.

— А язва?

— Нет! Зацементировал содой.

И захохотал.

ДОКЛАД БРЕЖНЕВА

Утро. В «Подъёме» только два человека: жена Матюшина, временно исполняющая обязанности секретаря-машинистки, и я.

Звонит Волохов, спрашивает:

— Кто есть в редакции?

— Один Эдуард.

— Пусть он мне позвонит.

— Да он тут стоит, дать ему трубочку?

— Нет, пусть он мне позвонит.

Секретарша смеется, я смеюсь. Минут через десять — звонок. Волохов, не дождавись моего звонка, сам позвонил.

— Ну, какие там дела? — спрашивает.

— Никаких дел, — отвечаю. — Вот сижу, читаю доклад Брежнева.

— Ну, и как?

— По-моему, нормальный.

Он обрадовался:

— Да, деловой доклад.

Я решил ему напомнить о рукописи моего романа «Дунька». Говорю:

— Двадцатый съезд остается в силе. Может быть, стоит подумать теперь о публикации моего романа?

— Да, — согласился он со мной, но как-то не очень охотно.

РЕЧИ НА СЪЕЗДЕ

Позвонил в обком, в отдел культуры. Разговаривал с Грибановым.

— Михаил Алексеевич, ну, ты читаешь речи на съезде?

Обращение «Михаил Алексеевич» должно показать — Волохов относится к нему с уважением, а «ты» — должно показать, что он себе тоже знает цену. Вроде запанибрата, но по имени-отчеству.

Михаил Алексеевич отвечает что-то, Волохов согласно кивает. Потом добавляет деловито, озабочено:

— Достается литературе. «Новый мир», «Юность»... Мы тут уже принимаем меры.

ВОЛОХОВ И ТВАРДОВСКИЙ

Сидим в Союзе писателей: я, Женька Титаренко. Беседуем. Вбегают Волохов, трезвый, бодрый.

— Ну, Эдик, читал?

— Что?

— «Известия». Как разделали Твардовского.

В глазах торжество, радость. Потом уже у себя в кабинете дает мне газету.

— На, ты хотел почитать.

Я не выражал желания читать «Известия», но газету взял, ушел в свой кабинет.

ВОЛОХОВ — ДРАМАТУРГ

На очередном «Литературном вторнике» Волохов читал свою пьесу. Вдруг из угла подхалимский голос:

— Прокашляйся.

— Что? — оборачивается Федор Сергеевич.

— Прокашляйся, хрипишь очень.

— Налей! — прохрипел Волохов и прокашлялся.

Председательствующий Люфанов налил в стакан воды, поставил перед чтецом.

Пьеса скучная, все тоскливо следили за тем, сколько страниц осталось. Наконец, последняя страница перевернута. По рядам пробегает оживление. Волохов говорит:

— А теперь прошу вас высказываться о моей пьесе не лицепрятно, а приятно.

ДОГОВОР НА ПЬЕСУ

Волохов пришел домой бодрый. Продал свою историческую пьесу о Петре Первом. Заключил с управлением культуры договор на 3 тысячи. Жена тоже обрадовалась.

— Верка, иди принеси бутылочку винца, — приказал Федор Сергеевич. — Сашка пришел.

Александр Гридчин был вместе с Волоховым в управлении культуры, и вместе они ввалились в дом.

Жена быстро оделась, пошла в магазин. Возвращается. Муж увидел, что у нее в руках одна бутылка, возмутился:

— Ты что, одну бутылку принесла?

— А разве мало?

Волохов ничего не ответил, махнул рукой и отвернулся. Александру Гридчину сказал:

— Давай быстро выпьем, я за другой сбегаю.

Хлопнули по стакану, еще по половинке. Наскреб денег по карманам, пошел.

А магазин уже закрылся, жаждущих не пускают. Продавщица увидела человека с большим пузом, закричала:

— А ты чего тут, пузатый, командуешь? Закрыто!

Федор Сергеевич подался вперед огромным животом, сам еще на улице, а живот в магазине:

— Ты что, Клава? Я же тебя на работу устраивал.

Продавщица заморгала своими большими глазами и вдруг виновато улыбнулась:

— Иван Петрович, я вас не узнала. Заходите, что вам нужно?

— Винца, — хмуро прорычал Волохов.

Продавщица суетливо забежала за прилавок. Волохов получил бутылку белого столового вина и понес свой живот домой, где его ждал Александр Гридчин.

СТИХИ

Я сидел один в пустом кабинете, редактировал стихи для очередного номера. Зашел Федор Сергеевич, спросил:

— Кого читаешь?

— Олега Шевченко.

— Хорошие стихи?

— Хорошие.

Прошелся по кабинету.

— Эдик, а где твои стихи?

— Через полгода будут.

Постоял у окна, снова прошелся по кабинету.

— Ты знаешь, я решил написать цикл стихов.

— Стихов? — изумился я.

Он захохотал, затрясся всем животом.

— А что, я же писал стихи. И печатал. Только я хочу писать белые стихи.

Я, все еще изумленный, покачал головой.

— Белые труднее писать.

— Нет, — отмахнулся он, — без рифмы легче.

Не знаю, какие стихи писал Волохов, но как редактор, он всегда ждал от нас, молодых, стихи. И читал их потом вслух в своем кабинете, и печатал охотно.

НОВЫЙ РОМАН

Волохов годами ничего не пишет. С большим трудом сочинил небольшой роман о профессиональном революционере. Назвал его претенциозно «Седой юноша». Роман должен был печататься в двух номерах «Подъёма» — в первом и во втором за 1966 год.

Все шло нормально. Напечатали в первом номере первую половину романа. А когда подошла очередь печатать вторую половину, выяснилось, что она у него еще в чернильнице.

Александр Гридчин, ответственный секретарь редакции, позвонил главному редактору домой.

— Федор, ну, что ты делаешь? Мы уже запаздываем на 9 дней. Написал ты конец романа или нет?

Федор Сергеевич рычит в трубку:

— Не хочу!

— Чего ты не хочешь?

— Писать не хочу.

Для публикации в журнале Федор Сергеевич, поднатужившись, что-то дописал. Но в конечном итоге роман так и вышел в укороченном виде. Не захотел Федор Волохов дописывать свой последний роман, надоело ему это занятие. Редактором еще мог быть, а писателем — уже нет.

И белые стихи не появились в печати. Не успел написать.

ВОЛОХОВ И «РЕСПУБЛИКА СЛОВА»

Федор Сергеевич, конечно, был толстый и длинноволосый, но это только внешний вид. Внутренне он был очень подвижный, энергичный. Нам, молодым поэтам, на улице или у себя в кабинете (каждому) задавал один вопрос:

— Где стихи?

Загадочное свойство души толстого человека — чувствовать прекрасное.

Он любил стихи. Если попадались сильные по чувству, зачитывал вслух. И готов был немедленно подписать в набор, чтобы в ближайшем номере были напечатаны.

К тому же, это было время стихов. Устройство мира объясняли не физики, не политики, а поэты.

В книге «Литературные прогулки по Воронежу» Олег Ласунский справедливо оценил способность Волохова чувствовать прекрасное: «В 1959 году главным редактором журнала «Подъём» был Константин Локотков, человек исключительно

отзывчивый и чуткий на все даровитое. Эстафету доброжелательного отношения к талантам принял Федор Сергеевич Волохов...»

Это проявилось и по отношению к нам, «рабочим поэтам», которые к тому времени уже объединились в группу с новым названием «Республика слова». Федор Сергеевич поддержал нашу непризнанную республику тем, что взял меня на работу в журнал. А когда в 1967-м меня избрали заместителем Владимира Гордейчева в Союзе писателей, на мое место в отдел поэзии и публицистики был принят следующий «республиканец» — Виктор Панкратов. Федор Волохов, правда, с ним не сработался. Виктор неплохо справлялся с редактированием публицистических статей, но стихи отбирал для печати, которые Волохову не нравились. Волохов поставил перед Бюро Воронежской писательской организации вопрос о создании еще одного отдела в «Подъёме» за счет Союза писателей или литфондовских средств. Виктор Панкратов остался редактором отдела публицистики, а Олег Шевченко должен был стать редактором отдела поэзии. Его тут же вызвали из «Коммуны» на заседание секретариата. Олег дал согласие, в тот же день написал заявление об уходе из «Коммуны». Но уйти не успел. Необычную штатную должность, чтобы работать в журнале, а зарплату получать в Союзе писателей, не одобрили ни в Союзе писателей РСФСР, ни в Литфонде.

Но все же можно сказать: троих «республиканцев» из пяти Федор Сергеевич принял на работу в свой журнал. Так недолго было и самому вступить в нашу «республику».

АЛЕКСАНДР ГРИДЧИН

*(Ответственный секретарь,
заместитель главного редактора)*

Своего кабинета у Александра Ивановича Гридчина не было. В кабинете главного редактора поставили второй стол.

— Два стола некрасиво, — сказал Волохов — Кабинет — не общежитие. Сашка, хватит нам одного стола, как-нибудь поместимся.

Второй стол, которому пытались найти место около болгарского ковра, вынесли в прихожую. А тот, что остался, поделили поровну: одна тумба — Волохову, другая тумба — Гридчину. У каждого свой ключ от боковых ящиков. Средний ящик — для рукописей. Сидели, однако, соблюдая иерархию. Волохов, как главный редактор, — в центре стола. У него была возможность просунуть ноги между двумя тумбами так далеко, что подметки его ботинок могли видеть посетители. А «Сашка» садился на уголок и обнимал короткими ногами свою тумбу, так сказать, занимал свою часть начальственного стола.

Они были друзьями, и никто не чувствовал себя ущемленным.

В период подписной кампании на журнал «Подъём» главный редактор и его заместитель ездили по Центральному Черноземью вместе. В Курске они выступили в библиотеке, потом посидели с курскими писателями в ресторане, спать легли поздно. Рано утром, часов в семь, Александр Гридчин проснулся от того, что начал содрогаться пол в номере, содрогалась вся гостиница. По комнате прыгал голый человек и кричал, делая зарядку:

— Сашка, глян, какой мы номер с тобой отхватили!

Номер, действительно, был большой, люкс для почетных гостей. Они и в самом деле были почетные гости, не только писатели, но и фронтовики. Оба воевали, оба были из поколения победителей, прошли пешком и проехали по всей Европе. Александр Иванович командовал батальоном. Участвовал в танковых атаках. Всегда был на головном танке. Не хотел, чтобы подумали: командир — трус. Во время одной из атак разрывная пуля попала в руку около плеча и вырвала кусок мяса.

— На две котлеты, — говорил Александр Иванович.

Когда приходилось нести из типографии бумагу в пачках, чтобы было на чем писать в редакции, жаловался:

— Тяжело.

После войны работал в газете «Коммуна». В тихую минуту, когда в кабинете Волохова собирались писатели покурить, поговорить, вспоминал о своей работе в газете с улыбкой и любовью...

Главному редактору газеты «Коммуна» принесли несколько материалов с «паспортами». На каждом что-нибудь написано, например: «Автору отвечено», «В архив» и так далее. И вдруг попался «паспорт» с непонятным словом «ОПУП».

— Что это такое? — удивился редактор

— Где?

— Опуп?

— Опубликовано, — робко ответил молодой журналист.

С тех пор на летучках, когда заходила речь о материалах опубликованных, говорили:

— Опуп.

Со временем это даже перестало вызывать улыбки. Употреблял это слово Александр Иванович и в журнале «Подъём». Но у нас оно не прижилось.

Александр Иванович пришел из газеты в журнал, чтобы верстать, или, как говорил Олег Шевченко, «рисовать» «Подъём». Он это умел. Поэтому был не только заместителем Волохова, но и ответственным секретарем журнала. Одним словом, придя из газеты в писательский журнал, Александр Иванович не стал писателем. Он по-прежнему считал себя журналистом. Неожиданно для всех написал занимательную книгу по химии: 16 печатных листов, получился довольно толстый том. Я очень удивился, когда он подарил мне свою «химию» с автографом:

— Александр Иванович, как вам удалось отгрохать такую работу по химии? Вы же выступили как ученый?

Он схватился обеими руками за голову и стал бегать по кабинету от стола к дверям и обратно:

— Голова у меня, голова у меня... еврейская.

Кроме того, Александр Иванович великолепно рисовал портреты писателей быстрыми штрихами. Графический портрет Юрия Гончарова и свой собственный я даже извлек из быстрых почеркушек Гридина и опубликовал в книге театральных мемуаров.

Ответственный секретарь журнала «Подъём» — симпатичный, доброжелательный человек и такой остроумный, что каждый раз я удивлялся, услышав новое, изобретенное по ходу жизни выражение.

Позвонил по телефону в Союз писателей:

— Позовите, пожалуйста, Курасова. Он нужен срочно.

Трубку взял случайный человек. Он просто положил ее на стол и пошел разыскивать Курасова.

Прошла минута, вторая. Наконец, бухгалтер, пожилая женщина заметила, что трубка лежит рядом с аппаратом. Она взяла ее:

— Гражданин, вы кого-то ждете?

— Что вы там слона бреете?

— Какого слона?..

Александр Иванович всегда высказывался художественно.

О напористой, стремительной женщине:

— У нее коленки круглые и тяжелые, как ядра.

О курносом человеке:

— У него через носдри мозги видно.



Эдуард Пашнев и Валерий Барабашов в редакции «Подъёма»

О лысом человеке:

— Босая голова.

О тупом человеке:

— У него было лицо твердое и гладкое, как коленка.

О скучных книгах:

— Читать плохие книги, все равно, что грызть стекло.

Ходил всегда в черном костюме. Один изнашивался, другой покупался.

Когда Гридчин звонил по телефону, я увидел на локтях белые потертости. Пора покупать новый черный костюм без потертостей. На шее хлорвиниловый галстук. Когда ответственный секретарь редакции делал резкое движение головой, галстук на шее громко скрипел.

У Волохова заболела нога. Александр Иванович два месяца получал за него зарплату и носил домой. Мы с Павлом Мелехиным стояли на лестничной площадке при выходе из «Подъёма». Был день зарплаты. Появился Гридчин. В руках — булькающий сверток. Александр Иванович поболтал свертком у нас перед носом, пошутил в рифму:

— Несу Волохову пару глотков того, что запретил Локотков.

В это время Локотков был председателем правления Воронежской писательской организации. Он должен был бороться с пьянством, особенно в кабинете № 17, находящемся на отшибе: нужно было пройти по коридору, мимо основной редакции журнала «Подъём», да еще завернуть за угол. А там тихий кабинет. Закрывались на ключ, доставали из шкафчика посуду и без шума, без песен пили за свое и чужое здоровье.

АРХИВ

В редакции журнала вот уже несколько дней работали две девушки из архива. Одна — старший научный сотрудник, другая, кокетливая, с подведенными глазами, — ученица. Вошел старческой походкой Борис Дальний (настоящая фамилия — Живоглядов). Он написал книжку о знаменитом клоуне и дрессировщике, который жил в Воронеже, «Юность Анатолия Дурова». Писатель увидел девушек, заулыбался:

— О-о-о! Какая экзотика!

Гридчин называл эту «экзотику»:

— Архивные барышни.

Они стояли у большого стола в приемной. Анастасия Степановна, секретарь-машинистка, сдавала им материалы. Они их подшивали. На столе — открытый чемоданчик. В чемоданчике инструменты, как у слесарей: ручная дрель для просверливания бумаг, всякие скрепы, нож и так далее.

Я зашел в кабинет к Волохову. Главного редактора не было. По кабинету бегал Александр Иванович. Спрашиваю:

— Что такое?

— Материал знаменитого летчика Водопьянова без подписи, а надо оригинал сдавать в архив.

Я пожал плечами:

— Опубликован же. Распишитесь сами.

— Правильно! — обрадовался он.

Через пять минут мы втроем: я, Зиновий Анчиполовский и Александр Иванович подделывали подписи авторов. Гридчин относил папки архивным барышням. Конечно, мы виноваты перед архивом, но все-таки текст, написанный знаменитым летчиком, был опубликован и сохранен.

БЮСТ БУЛАВИНА

Старик Булавин — автор книги «Боевой девятнадцатый», верный солдат революции — ходил в мастерскую к художнику Буримову позировать для своего скульптурного портрета.

По дороге в мастерскую встретил на проспекте Революции Волохова и Гридчина.

— Здравствуй, дед, — приветствовал его Гридчин. — Куда хромаешь?

Булавин оперся обеими руками на палку и, приблизив лицо, негромко спросил:

— Дайте рубль пятьдесят.

— Зачем тебе, дед?

— А вам что... жалко?

— Нет, но почему именно рубль пятьдесят?

— Рубль сорок девять на чекушку. А копейка — коробка спичек для Кати. Я сейчас хожу позировать для своего бюста Буримову. Мы с ним после сеанса должны опрокинуть?

БУЛАВИН В БОЛЬНИЦЕ

В последние годы Булавин часто ложился в госпиталь подлечить больную ногу. Лежал — скучал. С нетерпением ждал друзей, которые его изредка навещали. Ждал он их всегда с вожделием. Кто-нибудь приходил, садился у постели, начинал разговаривать. Булавин дергался:

— Ну?

Тот опять начинал что-нибудь рассказывать. Булавин нетерпеливо:

— Ну?

Тогда гость спохватывался, вынимал из кармана четвертинку и ставил в тумбочку. После этого Булавин откидывался на подушку и говорил:

— Ну, до свиданья.

ИВАН МАТЮШИН

(Заведующий отделом прозы)

ДРУЗЬЯ-АВТОРЫ

Зиновий Яковлевич Анчиполовский — секретарь парторганизации. Иван Алексеевич Матюшин — его заместитель. Он собирал членские взносы и прятал их в огромный несгораемый ящик из толстого листового железа. Этот ящик стоял у него за спиной.

Мы с Матюшиным занимали один кабинет. Пространство небольшое, мы сидели за своими столами напротив друг друга. Мне нравилось работать в журнале, я приходил раньше всех — к десяти часам утра. И тут же начинали заглядывать в дверь нетерпеливые воронежские писатели.

— Иван Алексеевич не пришел?

Матюшин раньше двенадцати не приходил. Жаждающие похмелиться Булавин, Титаренко, Казаков и другие терпеливо ждали.

Наконец, грузная фигура заведующего отделом прозы шумно появлялась, занимая весь проем двери. За ним уже толпились его друзья — авторы. Они знали: у него за спиной — железный шкаф, в котором лежат пятерки, десятки, рубли членских взносов.

Иван Алексеевич тяжело вздыхал:

— Ребята, это же партийные деньги.

— Мы тоже партийные, — сердито отвечал Булавин.

Матюшин открывал сейф, давал займы деньги страждущим.

ПАРТИЙНАЯ КАССА

Когда-то Матюшин лечил зубы у частника. У того внезапно умерла жена. Зубной врач беспробудно запил. Долго не работал, остался без денег, а привык уже с горя заглядывать в бутылку.

Едва Матюшин появился в редакции, его встретил в коридоре зубной врач:

— Иван Алексеевич, Зина умерла.

— Да, знаю. Прими мое сочувствие.

— Дай три рубля.

Отказать Матюшин не мог, хотя денег с собой не было. Они вошли вместе в кабинет.

— Человек страдает, горе у него, — объяснил мне Матюшин и негромко буркнул: — Придется взять в кассе.

Взвизгнула дверца сейфа. Работая в одном кабинете с редактором прозы, я постоянно слышал этот противный визгливый голос ржавой дверцы несгораемого шкафа.

Иван Алексеевич покопался внутри, протянул плохо стоящему на ногах врачу три рубля рублями.

Зубной врач взял их и, растроганный, обхватил руками голову редактора прозы, смачно чмокнул в лоб.

Матюшин смущенно поежился:

— Не люблю с мужчинами целоваться. Ободрал всего. Хоть побрился бы.

ЗВОНОК САМОМУ СЕБЕ

Позднее утро, время приближается к полдню. Кабинет главного редактора закрыт на ключ. Секретарь-машинистка еще не пришла.

Матюшин читает корректуру. Я готовлю подборку стихов Павла Касаткина в

номер. За дверью кабинета нашего шефа звонит телефон. Матюшин тяжело поднимается:

— Наверняка Волохов сам себе звонит в пустой кабинет.

Я молчу. Телефон надрывается. Матюшин тяжело ступая, идет в приемную, разделяющую наш кабинет и кабинет главного редактора. Берет из стола секретаря-машинистки ключ, открывает кабинет шефа. Телефон продолжает звонить. Наконец, звонки прекращаются. Я слышу голос Матюшина:

— Алло!

Через несколько минут он возвращается, добродушно улыбаясь, сообщает:

— Я так и думал: сам себе звонит. Знает же, в кабинете никого нет, и звонит.

СЕЛЕДКА

Матюшин сидит напротив меня, вздыхает.

Я молча редактирую рукопись. Вдруг он спрашивает:

— Эдик, ты не будешь обижаться, если я стану есть небольшую селедку?

— Почему я должен обижаться? Пусть селедка обижается.

Все еще не уверенный, что я не против его трапезы, он объясняет:

— Дело в том, что я третий день хожу какой-то больной. Думаю, что со мной?

А сегодня захожу в магазин, увидел селедку и понял.

Он, наконец, извлекает селедку, завернутую в бумагу, но тут входит Гридчин: платить членские взносы. Матюшин со вздохом открывает сейф, достает ведомость.

Гридчин шуршит рублями, звенит мелочью, уходит. Матюшин закрывает сейф, качает головой:

— Ну, не дадут съест. Может быть, пойти, закрыться в Союзе писателей и съест?

Над этой проблемой он минут пять раздумывает. Потом появляется автор с рукописью, потом — звонок из дома. Поговорив с женой, вздыхает тяжело:

— Ну, вот, уже домой зовут. А я так и не успел съест селедку...

Иван Матюшин мне всегда казался каким-то домашним, добродушным. Был он толстым и книги писал толстые. Дарил охотно, подписывал однообразно: «На добрую память». Я добросовестно их пытался читать, но дальше первых глав ни разу не продвинулся. Мешали подробные, утомительные описания незначительных явлений. Может, это были хорошие книги. Могли бы сказать те, кто их прочитал до конца. Но я таких читателей в Воронежской писательской организации не знаю.

Всю вину за непрочитанные книги беру на себя. В моей памяти Иван Матюшин остался добрым человеком, который заведовал в «Подъеме» отделом прозы и железным партийным ящиком, из которого давал взаймы деньги на опохмелку.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА СЕРГИЕНКО

(Секретарь-машинистка)

Анастасия Степановна, поблекшая женщина, которая много лет служила в армейских канцеляриях. Нам она рассказывала:

— Когда мне надо было попасть в штаб, я придумала, что смогу работать машинисткой. И вот попала, научилась печатать.

Во время войны работала в редакции армейской газеты.

— Я встречалась с Константином Симоновым.

— Ну, и что он, как?

— Хлестал спирт.

Ничего больше о знаменитом фронтовом поэте Константине Симонове она не запомнила.

После войны работала директором парка. Кажется, там и встретилась с писателем Михаилом Сергиенко. Это был высокий тучный человек. Ходил медленно, часто останавливался, у него была одышка. Их брак был коротким. Анастасия Степановна стала вдовой.

В качестве писательской жены она попала в журнал «Подъём».

ХОЗЯЙКА ЖУРНАЛА

В редакции журнала Анастасия Степановна продолжала чувствовать себя директором парка. Она часто принимала самостоятельные решения и требовала их выполнения от сотрудников редакции. Редакторам требовалась бумага — писать отзывы, вставки в рукописи, письма. Она выдавала пачку писчей бумаги и строго следила за тем, как бумага расходовалась. Но редакторы были писателями, уносили редакционную бумагу домой, чтобы перепечатывать на ней свои рукописи. Я думал, это нормально. Анастасия Степановна быстро пресекла мои вольности — перестала выдавать мне бумагу.

Главный редактор Федор Волохов писал в редакции на бланках со штампом «Подъёма». Заведующий отделом критики Зиновий Анчиполовский писал на оборотах старых рукописей. Я перестал просить у хозяйки журнала писчую бумагу, приспособился писать на оборотах рекламных плакатов. Их оставалось много после ежегодных подписных кампаний. Бумага для плакатов использовалась жесткая. Я складывал плакаты, перегибая несколько раз так, чтобы получился стандартный лист А4, разрезал ножом. И на этих плакатных страницах писал, зачеркивал, комкал. Под столом у меня стояла корзина для бумаг. Я бросал туда скомканный лист и прислушивался. Некоторой время комок бумаги просто лежал среди других бумаг. Но поскольку лист был жесткий, он медленно начинал расправляться, и слышалось шуршание, словно у меня в корзине кто-то шевелится живой. Это меня забавляло. Я открыл для себя живой процесс творчества. В моей корзине бумага шевелилась и шелестела.

РУКОПИСЬ ПЕВИЦЫ ИЗ ХОРА ПЯТНИЦКОГО

Как-то Волохов дал секретарше перепечатать мемуары певицы из хора Пятницкого. Это была небольшая статья о поездке в Индию. Анастасия Степановна начала печатать, застрекотала бодро машинка. И вдруг — стоп. Схватила рукопись и бегом к Анчиполовскому в комнату № 17. Бухнула ему на стол рукопись:

— Зиновий Яковлевич, отредактируйте!

— Что такое?

— Волохов дал перепечатать, но статья плохо написана.

Анчиполовский повертел-повертел рукопись. Спросил:

— Волохов прислал, чтобы я поправил?

— Нет, я начала печатать и вижу, что плохо...

— Мне сейчас некогда. Вот, может, Эдик?

Я сидел за столом в этом кабинете напротив Анчиполовского. Анастасия Степановна резко выхватила из рук Зиновия Яковлевича рукопись и, произведя в комнате ветер, ринулась к моему столу:

— Эдик, поправьте!

Я не стал отказываться, сунул рукопись в стол. Через день она пришла ко мне:

— Эдик, поправили?

— Нет, не успел. Мне нужно срочно вычитать рукопись повести. Вычитаю и тогда поправлю.

— Но я же не могу ждать. Где она у вас?

Я достал рукопись из стола. Анастасия Степановна выхватила статью резко, с раздражением, опрокинула на пол стаканчик с карандашами.

Молча собрала раскатившиеся карандаши и стремительно унеслась печатать плохо написанную статью.

РУКОПИСЬ ГУСЕВА

Анастасия Степановна звала Владимира Гусева «деточкой». Она говорила ему:

— Ты, деточка, приноси мне рукописи чисто переписанные. Я академикам печатала, и они не ленились переписывать.

Но Гусев, будучи человеком разбросанным, взъерошенным, приносил и рукописи исчерканные, на пухлых страницах с закрученными уголками видна была густая правка.

Идет по коридору, выписывает старческими бедрами кренделя. Я иду навстречу, замедляю шаги. Степановна вдруг останавливается напротив меня:

— Эдик, как по латыни «человек»?

— Гомо сапиенс.

— А не сопиенс?

— Нет, сапиенс.

— Спасибо.

Довольная полученной справкой, двинулась к своей машинке — исправлять сопиенс на сапиенс.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА И ГОНЧАРОВ

Дальняя 17-я комната редакции журнала «Подъём» — самая тихая. В ней уютно сидеть одному, читать рукопись. Сюда же приходят писатели, когда нужно что-нибудь отметить, по-быстрому выпить, закусить и разбежаться по шумным комнатам редакции. Никто не видел, как пили, значит, все трезвые.

Сюда же приходили к Анчиполовскому коллеги из университета, пединститута. Он им заказывал критические статьи. С критиками было интересно поговорить о литературе, обсудить последние публикации в «Новом мире», в других журналах.

Пришел Юрий Гончаров. Он только что вернулся из зарубежной поездки во Францию. Привез огромное количество шариковых ручек, дарит их всем. Мне тоже подарил.

Вошла и сразу вышла секретарь-машинистка Анастасия Степановна. Она любила вот так нагрянуть в 17-ю комнату, чтобы застать здесь выпивающих писателей. Сейчас она ошиблась, мы просто сидели с Гончаровым и разговаривали.

— Анастасия Степановна! — успел крикнуть вслед Юрий Данилович.

Она вернулась, гордая, неприступная старуха. Гончаров протянул ей красную шариковую ручку.

— Подарок.

— Спасибо. Жалко, что красная. И чернила в ней красные, да?

— Да, Анастасия Степановна.

— Юрий Данилович, если у вас есть дома ручка с черными чернилами, принесите, поменяемся.

— Принесу и подарю. Пусть у вас будет две шариковые ручки.

— Я вам верю, — сказала Анастасия Степановна. И как вошла с гордо поднятой головой, так с гордо поднятой головой и вышла.

Удивительная женщина. Работает секретарем-машинисткой в журнале «Подъём», но почему-то никто не хочет с ней ссориться. И все приносят ей маленькие подарочки. И даже такой вот расчетливый человек, как Юрий Гончаров, подарил ей одну шариковую ручку. И пообещал подарить вторую.

ПОЧТОВАЯ МАРКА

В 1965 году журнал «Юность» отмечал юбилей — 10 лет работы, 10 лет огромного читательского успеха. Я успел напечатать в «Юности» стихи и повесть. Это был мой журнал. Я приготовил красочную открытку с поздравлением от имени журнала «Подъём». Мне нужен был конверт с логотипом нашего воронежского журнала. Я подошел к столу Анастасии Степановны. Попросил у нее конверт. Вложил в него свою самодеятельную открытку, взял пузырек с клеем, намазал, заклеил.

Пока я все это делал, наша секретарь-машинистка внимательно на меня смотрела. Наконец, спросила:

— Эта открытка в журнал «Юность» — поздравление от нашего журнала?

— Да.

— Нател!

И она протянул мне марку.

При этом лицо ее выражало большую ответственность. Если наша редакция поздравляет их редакцию с юбилеем — вот вам редакционная марка за 4 копейки.

АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН — СТАТЬЯ 58-8

В Сталина стреляли. Но поскольку он был надежно укрыт за кремлевскими стенами, стреляли в портрет...

Известный кинооператор Владислав Микоша рассказывает. Праздновали в Севастополе во время войны 50-летие поэта Сергея Алымова. «На стене как-то четко высветелся в массивной раме портрет Сталина. Его взгляд, устремленный на нас, мне показался каким-то странным — живым. Таким я видел его на киносъёмках в Москве... Вдруг стремительно вскочил из-за стола Сергей Алымов. Зазвенели и посыпались на пол бутылки, стаканы. Он выхватил из кобуры наган и, не целясь, один за другим всадил все семь зарядов в портрет Сталина. От портрета, кроме рамы на стене, ничего не осталось.

Присутствовали на этом товарищеском ужине: писатель Л. Соболев, журналист Л. Иш, поэт Я. Сашин, композитор Б. Мокроусов, Ю. Слонов, В. Макаров, сам В. Микоша. И никто не выдал поэта Сергея Алымова.

За такой же выстрел в портрет Сталина Анатолий Жигулин был арестован. Ему вменялось в вину, что состоял в молодежной организации КПМ, члены которой самовольно изучали труда Маркса и Ленина, — статья 58. И за выстрел в портрет был добавлен пункт 8 — террор. Молодой поэт — террорист.

Я познакомился с Толей Жигулиным после смерти Сталина. Вернувшись из лагеря, он ходил по Воронежу, сутулясь, волоча ноги, часто останавливался, чтобы унять одышку.

Толя радовался свободе, родному городу. Первую свою книжку стихов так и назвал «Огни моего города». Подарил мне с автографом, где был щедр на слова о моем будущем:



Анатолий Жигулин в московской квартире

«Эдику Пашневу с искренним дружеским чувством, с верой в его большое поэтическое будущее.»

*2 февраля 1960 г.
Анатолий Жигулин.
г. Воронеж».*

До отъезда в Москву Толя успел подарить мне еще одну книжку стихов «Костер-человек»:

«Другу Эдику Пашневу! Эх! Зря ты, бросил, брат, стихи писать.»

*7 окт. 1961 г.
Анатолий Жигулин.
г. Воронеж».*

Через много лет, уже в Москве, Анатолий Жигулин подарил мне большую книгу прозы «Черные камни»:

«Дорогому давнему другу и земляку Эдику Пашневу с любовью! Да, Эдик! Двое мы с тобой остались из целого большого воронежского поколения! Обнимаю!»

*Анатолий Жигулин.
1 Января 1996 года.
Москва».*

Три автографа — вся жизнь...

Теперь я остался один, спешу рассказать обо всех нас, как мы жили, как любили литературу и страну.

По прихоти случая в Москве мы с Жигулиным снова оказались рядом, жили в Безбожном переулке в одном доме, в одном подъезде: я — на 9-м, Толя — на 12 этаже. У него был такая манера: звонил мне по телефону и приказывал:

— Эдик, поднимись ко мне!

Я поднимался на лифте. Дверь на площадку уже была открыта. Толя меня встречал, мы проходили в большую комнату. Он показывал рукой на кресло:

— Садись — читай!

Кресло стояло у маленького столика, на котором лежала раскрытая для чтения машинопись.

Так он знакомил меня со своими новыми вещами.

12 июля 1988 года вышел журнал «Знамя» № 7, где были напечатаны «Черные камни» — первая часть лагерной автобиографической повести Анатолия Жигулина. Он тут же позвонил мне, приказал подняться на его этаж и подарил «Знамя» № 7 со своей сенсационной публикацией.

В 2016 году альманах «Ямская слобода» (Воронеж) № 7 опубликовал дневники Анатолия Жигулина. Привожу запись, в которой Толя зафиксировал мою устную оценку его автобиографической повести:

«26 июля 1988 года, вторник.»

Примечательны уже самые первые отзывы на начало, на первую часть моей повести «Черные камни». Известный писатель (поэт, прозаик и драматург) Эдуард Пашнев, давний мой товарищ и друг по литературе (начинали вместе в Воронеже почти 35 лет назад), прочитав первую часть повести, восторженно сказал:

— Ты совершил важное дело. Можно даже сказать, подвиг. Ты заполнил материалом своей повести пустовавшую социальную нишу эпохи. Ты реабилитировал целое поколение, считавшееся раньше рабским и безъязычным».

После выхода в свет книги «Черные камни» к нему приходило много писем, он знакомил меня с ними.

ПИСЬМО ЕРМОЛОВА Ю.К. ИЗ АКТЮБИНСКА

1 февраля 1944 года я был арестован за распространение листовок против Сталина. Отчетливо помню одну листовку: «ДОЛОЙ СТАЛИНА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИН!»

Помню, потому что на следствии при перекрестном допросе следователей было много — и все большие шишки...

— Почему ты писал «Да здравствует Ленин!»? Ведь Ленина уже давно нет в живых.

Я ему ответил известной хрестоматийной фразой:

— Ленин умер, но дело его живет.

На этом допросе меня не били.

Допрашивали ночью в Свердловской железнодорожной тюрьме, которая располагалась в подвалах Управления Свердловской железной дороги. Тогда ж/д имени Кагановича.

Когда Ермолова арестовали, листовки перестали появляться. И кто-то сказал его матери:

— Видите, арестовали вашего сына, и листовок нет. Значит, он распространял. — И тогда мать написала листовку и наклеила ее на забор. Ее тут же арестовали, начали бить. И тогда сын во всем признался, чтобы облегчить ее участь.

«Так мы с матерью стали подельниками, — писал Ермолов и попросил: — Пришлите, пожалуйста, стихи «Нам было легче виноватым».

Письмо закончил словами: «Борьба и победа!» — (девиз КПМ).

Строки «Нам было легче виноватым» Ермолов запомнил неточно. Вот два четверостишья из этого стихотворения. Не знаю, послал Анатолий Жигулин стихи Ермолову и его матери. Я, на всякий случай, «посылаю», публикуя их здесь...

В худых заплатанных бушлатах,
В сугробах на краю страны —
Здесь было мало виноватых,
Здесь было больше — без вины.

Вина!

Она была, конечно.

Мы были той виной сильны.

Нам, виноватым, было легче,

Чем взятым вовсе без вины.

Было множество других откликов.

Эти письма подельников Анатолия Жигулина по 58 статье возбудили у меня желание заняться изучением молодежных подпольных групп типа «КПМ», «Смерть — Берия», которые хотели не формально, а действительно построить кабинетный коммунизм, придуманный Лениным, но Сталин и Берия этому мешали.

Я попросил разрешение снять копии с некоторых писем. Толя Жигулин охотно разрешил мне. Я поднялся к нему на 12-й этаж на этот раз с машинкой и сидел в холле за круглым столом, перепечатывал письма, одно из которых только что процитировал.

Одновременно я стал собирать сведения о революционных молодежных группах в прессе. Из статьи Юлии Друниной («Огонек», № 41 1988 г.) «Пострадавший от Сталина Каплер» узнал, что знаменитые кинодраматурги Ю. Дунский и В. Фрид создали в Москве подпольную группу, в которую входила дочь расстрелянного наркома Лена Бубнова.

Владимир Амлинский («Юность», №3) напечатал скорбную страницу о своих друзьях «На заброшенных гробницах»:

«Потом посадили трех моих товарищей по литкружку в Доме пионеров, Борису было восемнадцать, Владу — девятнадцать, Сусанне — семнадцать. Мы, их друзья, написали ему (Сталину. — Э.П.) письмо о чудовищной несправедливости. Но нам сказали их родители: «Не надо. Уже были письма, а ответа нет. Уже несколько раз писали ЕМУ. Ждем, что Сталин разберется».

Шел 1951 год. Разобрались в 1952 году. Бориса и Владика расстреляли. Сусанне дали 25 лет (был тогда такой срок).

В материалах следствия фигурировал и мой разговор с Сусанной о Бухарине. Бухарин интересовал меня. Чудом сохранилась брошюра, подаренная деду. Мне повезло, возраст спас. Шестнадцати еще не было, хотя и четырнадцатилетних брало...

Борис и Владик казались взрослыми, о многом думали, о многом говорили. Об истории давней и недавней говорили не совсем так, как это было принято. Обсуждали судьбы людей, чьи портреты в книгах и учебниках были замараны. Вот в чем их вина. Они очень любили литературу. Накануне тех зловещих дней подарили мне на день рождения сборник вовсе тогда не модного Фета.

Когда пришли за Сусанной, она сказала:

— А как же... у меня завтра контрольная?! Ведь скоро выпускные экзамены...

Они были молодые люди, в сущности, еще дети. Но для тех, кто фабриковал дело, они не имели возраста, не имели родителей, не имели судьбы, не имели будущего, было только «продуманное преступное» прошлое, а в настоящем — ожидание конца и невозможность защитить себя, что-то объяснить.

Никогда это не уходило из моей памяти. Даже для тех суровых времен приговор студенту-первокурснику Московского пединститута, студенту 2-го курса мединститута в Рязани, десятикласснице и их товарищам, «агентам трех иностранных разведок», поражал своей абсурдной жестокостью... Но он был вынесен и приведен в исполнение.

Сусанна, пройдя через одиночку в Лефортово, оказалась в лагере в Потьме. Первая весточка от нее кружным путем пришла ко мне в 1953 году, через несколько месяцев после смерти Сталина.

В 1955 году ее освободили, амнистировав, но не реабилитировав. В 1956 году, в институте, затаив дыхание, мы слушали текст доклада Хрущева...»

В нашем писательском доме в Безбожном переулке, в нашем подъезде на 11 этаже, жил еще один замечательный поэт — Булат Окуджава. Мы встречались ежедневно во дворе, в холле, в лифте. Толя Жигулин дружил с поющим поэтом. Он и сам умел петь некоторые свои стихи.

Булат Окуджава окончил Тбилисский университет. В этом университете (предположительно) в 1945 году, сразу после войны, группой студентов третьего курса была создана подпольная антисоветская организация «Смерть — Берия».

В 1948 году, в конце третьего курса, несколько человек были арестованы. Двое из них, Александр Цебулевский и Лев Софианиди, — ближайшие друзья Булата Окуджавы. Они тоже писали стихи на хорошем профессиональном уровне. Третий, Алексей Силин, начинающий поэт, учился в одной группе с ними. Поэты часто собирались у Булата дома, читали стихи — свои и чужие, обсуждали их, спорили. Булат Окуджава не был членом террористической группы, но наверняка знал, что в университете есть подпольная организация «Смерть — Берия». Александр Цебулевский и Лев Софианиди не могли не рассказать близкому другу, что они собирались сделать с Берией. Им было известно: отца Булата расстреляли, мать посадили.

Все причастные к заговорщикам были арестованы. Им крупно повезло: именно тогда, в 1948 году, в СССР ненадолго отменили смертную казнь. Софианиди и Цебулевский получили по 10 лет. Элла Маркман получила по максимуму — 25 лет камерных работ.

Булата Окуджаву и Алексея Силина вызвали в НКВД и предупредили, что если они не прекратят свои сборища с чтением стихов, их ждет такая же судьба.

Силин так был напуган, что, не доучившись, забрал документы из университета и уехал из Тбилиси в неизвестном направлении. Куда он делся, так и не удалось выяснить. Сокурсники о нем никогда больше ничего не слышали. Но, может быть, не страх перед НКВД заставил его скоропалительно бросить университет — в атмосфере всеобщей подозрительности многие шушукались, что именно Силин выдал подпольную организацию, хотя впоследствии выяснилось, что предателем был другой человек.

Булат доучился, окончил университет, но после ареста своих друзей чувствовал себя в Тбилиси неуютно. Он попросил распределить его в Россию, напомнил, что родился в Москве, жил с родителями на Арбате. Подобно Силину, он хотел затеряться. Выбрал для этого Москву. И затерялся, став знаменитым.

Я несколько раз видел Булата Окуджаву и Анатолия Жигулина во дворе, беседующими около детской песочницы. Им было о чем поговорить, у них — похожие советские биографии.

Сведения о Булате Окуджавы и подпольной антисоветской организации «Смерть — Берия» в Тбилисском университете взяты мною из книги Марата Гизатулина «Вся жизнь в одной строке». Издательство АСТ, Москва 2019 г.

ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ

(Заведующий отделом поэзии)

В июле 1935 года было прекращено издание журнала «Подъём». В 1957 году (через два десятилетия) издание было возобновлено. Максим Подобедов, как известно, снова был назначен главным редактором. Место заведующего отделом поэзии некоторое время было вакантным. Ждали Гордейчева, выпускника Литературного института. Он был воронежский, успел за время учебы в Москве стать известным поэтом, напечатав стихи:

Не могу отмалчиваться в спорах,
Если за словами узнаю
Циников, ирония которых
Распалает ненависть мою...

Владимир Гордейчев появился в Воронеже и сразу стал приметной фигурой на проспекте Революции. Он ходил, гордо откинув голову назад, подтверждая свою фамилию — Гордейчев. Уезжал на учебу из деревни, а приехал из Москвы знаменитым поэтом, стихи которого печатались в столичных газетах и журналах.

Может быть, современные читатели плохо знают стихи Владимира Гордейчева. Но в те годы он был почти так же знаменит, как Евгений Евтушенко, с которым сидел за одной партией в Литературном институте. Они были друзьями, обменивались книгами, а потом поссорились. И Евгений Евтушенко не включил в свою знаменитую антологию стихи бывшего друга, известного поэта. Поэтому я хочу начать с публикации стихотворения заведующего отделом поэзии журнала «Подъём», чтобы читатели узнали, как умел чувствовать Владимир Гордейчев и как умел эти чувства выражать в стихах.

СОЖЖЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

Меня сожгли. Предали смерти,
А я не знал, что я — в печи.
Мой пепел в траурном конверте
Прислали почтой: «Получи!»
Живым прошедший крематорий,
Я в пепле трогаю края
Той фотографии, с которой
Когда-то улыбался я.
Блеснул огонь, и голос замер.
А я надеждой счастлив был,
Что я еще гляжу глазами
В глаза, которые любил,
Которые с мольбой и мукой,
Готовых хлынуть слез полны,
Сквозь годы, ставшие разлукой,
К моим глазам обращены.
Былого в пепле не отыщешь.
Но хоть раскопок не веду,
По дорожному пепелищу
Босою памятью иду.
Иду по угольям, готовый
Принять презрительный упрек
Любимой девушки, которой
По малодушью пренебрег.
Сквозь дым в лицо мое клубимый,
Которым я еще дышу,
В слезах от жара, у любимой
Последней милости прошу:
За ярость в буквах на конверте,
За вспышку правого огня,
За то, что помню после смерти, —
Любимая, прости меня.

1964 г.

Владимир Гордейчев талантливо руководил отделом поэзии. Он организовал при «Подъёме» поэтический семинар по примеру семинаров в Литературном институте. И все молодые поэты Воронежа, можно сказать, окончили литературную школу Гордейчева.

На семинарских занятиях в «Подъёме», во время обсуждений, Владимир Гордейчев отбирал для публикации наши стихи. И мы очень рано начали печататься в журнале.

А впоследствии, по его совету и с его помощью, мы всей нашей группой (за исключением Виктора Панкратова) поступили в Литературный институт: Олег Шевченко, Роман Харитонов и я.

Многие годы — и когда работал в журнале, и потом — он был нашим наставником и другом. В день, когда я и Роман Харитонов должны были получить дипломы, он приехал в Москву и устроил нам в ресторане «Берлин» праздник выпускников.

С того момента, когда Владимир Гордейчев, выпускник Литературного института, приехал в Воронеж, мы шли по жизни рядом. В 1962 году я его сменил в отделе поэзии в журнале «Подъём».

Гордейчев передал мне папки со стихами. Достал из ящика стола книгу стихов «Беспокойство», вышедшую в Москве в издательстве «Советская Россия». Сделал короткую надпись:

«Эдику Пашневу, — новому члену подъёмовской семьи — дружески.

Володя.

11 июня 1962 г.»

И после этого уступил мне свой стул за редакторским столом.

Я остался один в кабинете, полистал подаренный мне сборник стихов. Увидел стихи о Литературном институте.

ФУТБОЛИСТЫ

*Команде Литературного
института*

В суете и свистопляске
Добывался каждый гол.
Правым крайним шел Полянский,
Евтушенко левым шел.
И когда над боевыми
Разворотами стихов
Встанет дружеское имя,
Так гордиться я готов,
Что на радостях не стану
Отрекаться от питья,
Потому что капитаном
Был не кто-нибудь, а я.

Володя Гордейчев окончил Литературный институт. Я еще учусь и вот приехал, чтобы пройти редакторскую практику в журнале.

Опытный редактор, известный поэт играл вместе с Евтушенко в футбольной команде Литературного института. У нас была другая команда и другая игра — волейбол. Я играл в одной команде с забивным игроком Олжасом Сулейменовым. Приятно было сознавать, что Литературный институт — часть нашей общей биографии с Гордейчевым. А теперь вот еще и журнал «Подъём».

ЗАПИСИ В «ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ»:

1 июля 1962 года зачислен редактором отдела поэзии в журнале «Подъём».

1 декабря 1962 года — уволен в связи с окончанием практики.

1 марта 1963 года зачислен редактором отдела поэзии в журнале «Подъём»

16 апреля 1963 года — освобожден в связи с продолжением учебы.

24 декабря 1964 года зачислен редактором отдела поэзии в журнале «Подъём».
1 июля 1965 года — освобожден в связи с окончанием временной работы.

1 июля 1969 года зачислен редактором отдела поэзии и публицистики журнала «Подъём».

31 марта 1971 года — освобожден в связи с переходом на профессиональное положение писателя.

По этим записям видно: я работал в журнале «Подъём» с перерывами с 1962-го по 1971 год. Девять лет мы по очереди с Владимиром Гордейчевым занимали эту должность. А поскольку я удачно выступал в прессе с публицистическими статьями, то в 1969 году, когда я в очередной раз уселся в кресло редактора отдела, Волохов приказал считать это подразделение в журнале «отделом поэзии и публицистики». Так и было записано в трудовой книжке. Совместились две вещи не очень совместные. Первым делом мне предложено было отредактировать доклад по сельскому хозяйству Первого секретаря Белгородского обкома КПСС. Редактировать там было нечего, мне пришлось переписывать доклад, опираясь на факты. И когда мой вариант был опубликован в журнале, я почувствовал себя соавтором важного государственного доклада.

КНИГА ТАРСИСА «ПАЛАТА № 7»

После Туркмении Гордейчев съездил к морю, потом ему надо было подготовить к изданию книгу «Мера возраста». Одним словом, он сидел дома и работал над редактированием и составлением сборника стихов, подводил итоги своему 36-летию.

Но на собрание в Союзе писателей пришел. Это был особый случай. Минаев, генерал из Комитета государственной безопасности, решил выступить перед молодыми писателями. Он показал чикагские «Известия» и чикагскую «Правду», где были опубликованы стихи Евтушенко. Потом он взял в руки журнал «Юность», покритиковал опубликованные в нем новые стихи все того же Евтушенко.

Еще во время своего доклада он пустил по рукам экземпляр книжки диссидента Тарсиса «Палата № 7». Когда эта книжка вернулась, он, не глядя, протянул ее в зал.

— Возьмите, кто хочет почитать, потом вернете.

Минаев протягивал какому-то парню, но у него перехватил книжку Гордейчев.

— В руки Союза писателей, — сказал он.

Гордейчев еще не был избран секретарем Воронежской писательской организации, но уже готов был предложить свои руки в качестве рук всего Союза писателей.

Когда мы шли домой, он сказал:

— Не надо никому давать эту книжку.

Третьим с нами шел Виктор Панкратов. Он не согласился:

— Я бы почитал.

— Я почитаю — и все! — твердо заявил Гордейчев.

Я тогда подумал: Минаев, генерал, начальник Воронежского управления Комитета государственной безопасности не боится давать для чтения диссидентскую литературу писателям, а писатели — сами боятся.

Гордейчев все-таки передал книжку Тарсиса В. Панкратову через свою жену Асю, которая работала корректором в журнале «Подъём». Она принесла сверток и сказала:

— Ты увидишь Виктора сегодня?

— Да.

— Передай ему книжку.

Через некоторое время звонок в редакцию. Хриплый голос:

— Эдуард, здравствуй!

— Это ты, Володь, привет.

— Я беспокоюсь на счет «Палаты № 7». Должен был Виктор Панкратов взять, но Ася сказала, что ты взял.

— Да, это так, но ты не волнуйся. Вечером ко мне придет Виктор, я ему передам книжку Тарсиса. И в понедельник ты сможешь, как собирался, отнести ее в комитет.

— Отнесу и попрошу еще что-нибудь почитать, — обрадовался Гордейчев.

Это был февраль 1966 года. Хрущевская оттепель еще не закончилась.

ПЕРЕДАЧА ДЕЛ ГОРДЕЙЧЕВУ

Вышел Владимир Григорьевич на работу в журнале «Подъем» только через полгода. Я передал ему дела. Минут пятнадцать мы сидели, разбирали рукописи: что в архив, что в номер, что куда. Потом он ушел в Союз писателей играть в шахматы.

Так было у него каждый день. Минут тридцать занимался стихами, потом шел в большой зал Союза писателей, садился за стол, покрытый зеленым сукном, и ждал кого-нибудь, кто играет в шахматы. И тут проявлялся его характер. Проиграв партию, ни за что не выйдет из-за стола, требует реванша. И чем чаще проигрывает, тем больше мрачнеет. И только выиграв партию, начинал похохатывать и острить.

Когда я через час пришел в большой зал Союза писателей, он был в хорошем настроении, выиграл партию у Локоткова. Гордейчев отвел меня в сторону, негромко спросил:

— Хочешь в Белгород поехать?

— Что делать?

— Вести семинары.

— Ого! Конечно.

— Сейчас у нас будет бюро. Я тебя выдвину.

КВАС ГОРДЕЙЧЕВА

Пришел в гости к Гордейчеву. Постучал в дверь, подождал. Пауза была длинная, наконец, кто-то завозился в коридоре. Открыл дверь, щурится на свет растерзанный, шевелюра съехала на бок, волосы дыбом. Пуговицы на рубашке растегнуты. Скользнул под рубаху рукой, почесал грудь.

— Заходи.

— Спал?

— Да.

Свет он включил только в коридоре, но я по инерции заглянул сквозь темноватые стекла двери в комнату, мельком увидел Асю в белой рубашке, сидящую на кровати.

Гордейчев провел меня на кухню, притащил шампанскую бутылку с квасом.

— Пей. Сам делаю из солода. Купил в Москве солод, привез, вот теперь развожу.

Пить не хотелось, но я все же выпил полную кружку кваса. Спросил:

— Ну, какие нас ждут обязанности в Белгороде?

— Неделя поэзии.

— Да, знаешь, — вспомнил я, — Литературный институт восстановили.
— Брось.
— Точно. В газете было сообщение.
Помолчали. Он сидит, мается, я тоже. Вздохнул:
— Журналы «Юность» отдам в другой раз. Там сейчас Ася.
Помолчали в третий раз.
— Ну, я пошел.
Он облегченно вздохнул, поднялся с табурета.
— Давай! — пожал мне зачем-то руку.
Спускаясь по лестнице, я подумал: зачем мы с ним вместе едем в Белгород?
Непонятно.

В ПОЕЗДЕ

Едем в Белгород на «День поэзии». Наши места в разных купе. Но поезд полупустой. Володя перешел в мое купе.

Поезд пятьсот веселый. Ехал тихо, часто останавливался. Мы сидели, неспешно разговаривали. Вспоминали хорошее время, когда я только начинал, а Володя уже приехал из Москвы известным поэтом. В «Литературной газете» было опубликовано его стихотворение «Не могу отмалчиваться в спорах». Вспоминали некоторых воронежцев, которые перебрались в Москву. Гордейчев сказал:

— Мне Жигулин как-то признался, что у него долго хранились дневниковые записи, больше десяти блокнотов. «Там и про тебя, Володя, есть», — сказал он. А я попросил:

— Дал бы посмотреть.

— Это уже невозможно. Несколько лет назад у меня была мания преследования. Я вынес все блокноты во двор и сжег.

Гордейчев попытожил:

— Он так сказал, что я ему сразу поверил.

— Я тоже веду дневник, — признался я. — Хочу сложить свои записи с записями из других дневников, таких, как дневник Жигулина. Получится широкая картина о литературной жизни Воронежа. Хочу сделать такую мозаику.

— У тебя получится. У тебя обязательно получится, — сказал Гордейчев.

Меня всегда удивляло, когда я говорил с ним вот так в поезде или на улице, или по телефону — он был очень отзывчив на понимание, на ответную доброжелательность. Но на правлении, на собрании вдруг становился совсем другим.

И еще об одном подумал я... Все-таки Гордейчев — творческий человек. Много он делает профессионально. Почему-то некоторым это не нравится. А я, при моем часто неприязненном отношении к некоторым его поступкам, не могу не уважать в нем профессионализм, четкость суждений. И легко забываю во время подобных разговоров, каким он бывает неприятно жестким.

МЕБЕЛЬ ИЗ ИМЕНИЯ ЭРТЕЛЯ

В 1967 году Владимира Гордейчева, заведующего отделом поэзии, избрали секретарем Воронежской писательской организации.

В журнале «Подъём» я замещал его, когда он отсутствовал. Теперь в новой должности председателя правления ему требовался заместитель. По традиции предложили назначить меня. Платной должности в штатном расписании не было. Меня вызвали в обком и предложили стать заместителем Гордейчева с оплатой по договоренности. Секретарь по пропаганде В. Усачев сказал:

— Вы у нас не обижены. И не будете обижены.

Имелось в виду, что я щедро издаюсь в Центрально-Черноземном книжном издательстве, в журнале, в газетах. И я согласился стать заместителем.

Володя Гордейчев (я к этому времени только так его и называл — Володя) вошел в свой кабинет, огляделся, потер руки, предвкушая изменения, какие он произведет.

На второй день своего пребывания на посту руководителя Владимир Григорьевич позвал Марию Григорьевну (секретаря-машинистку), меня (своего заместителя). Тут же по счастливой случайности оказались Павел Мелехин и Григорий Рыжманов. И начали мы все вместе вытаскивать из кабинета старинный шкаф, который когда-то стоял в доме Эртеля, ставшем перед войной домом творчества писателей. После войны усадьбу передали туберкулезному санаторию. Писатели успели из Дома творчества увезти антикварный шкаф черного дерева. И с тех пор он стоял в кабинете ответственного секретаря Союза писателей. Гордейчеву почему-то историческая мебель мешала в кабинете. Мы грубо двигали резной черный шкаф с точеными фигурками, со львами. Шкаф скрипел, рассыпался, вернее, осыпался. С него падали на пол мелкие детали. А мы, не обращая внимания на это, волокли его через конференц-зал в коридор, а потом в одну из дальних комнат — № 17 журнала «Подъём».

После того как вслед за шкафом мы выволокли кресло со львами, продавленное до основания писательскими начальниками, Гордейчев почувствовал удовлетворение. Он поставил к столу венский стул и уселся править писательской организацией по-новому — не в кресле, а на стуле.

Эртелевское кресло, несмотря на то, что его выставили из кабинета ответственного секретаря, послужило еще литературе. В нем потом долгие годы сидел заведующий отделом критики журнала «Подъём» — Анчиполовский.

Зиновию Яковлевичу нравилось, что кресло старинное и подлокотники заканчиваются фигурками львов.

ПЕЧАТИ, ВЫВЕСКИ, ЗВОНОК

Меня, как я уже сказал, назначили заместителем Гордейчева. Положили оклад 100 рублей

Членом правления я не был, но присутствовал на заседаниях — вел протокол. Однако главным образом в мои обязанности входили всякие хозяйственные заботы.

В уставе Союза писателей после очередного съезда произошли словесные изменения. Надо было изготовить новые печати, новые вывески. Первый свой рабочий день я потратил на посещение УООП (Управление охраны общественного порядка). Долго сидел в приемной вместе с участковым милиционером, который привез пять винтовок, одно ружье и несколько пистолетов в мешке — оружие, которое хранилось жителями незаконно.

Целую неделю я занимался оформлением документов в разных инстанциях, заказывал вывески на стекле: наружные, надверные и прочие. Все должно было выглядеть строго, но красиво: золотыми буквами на черном фоне.

«Гороформление» — это огромный сарай, внутри которого пахло свежей стружкой и краской. В большой комнате сидели девушки. Мне досталась Люда в красном платье и высокие красных сапожках. Она проставила размеры вывесок и табличек, выписала счет. Я был очень доволен тем, что мне удалось разместить заказ.

Через неделю приехал получать печати. Люда положила перед собой чистый лист бумаги, сделала несколько оттисков. Обнаружилась ошибка.

— Что будем делать? — спросил я.

— Исправлять, — ответила Люда.

Покидала печати в мешочек из плотной коричневой бумаги и унесла в подвал, в мастерскую.

Гордейчев был недоволен:

— Что это такое? Бракоделы! Когда будут готовы печати, скажи, вместе пойдем.

Наконец, печати были готовы. Мы пошли вместе через весь город в областную типографию. Гордейчев сам, лично, проверил каждую печать. С торжественным стуком приложил одну и другую к бумаге, держа печати одновременно в правой и левой руке, и долго разглядывал оттиски. С большим удовлетворением.

Для полного счастья надо было сделать еще кое-что. Союз писателей занимал несколько помещений на этаже, почти все правое крыло. В приемной (продолговатой комнате) у окна сидела секретарь-машинистка. У противоположной стены стояли несколько столов, за которыми сидели: бухгалтер, директор Бюро пропаганды, уполномоченный Литфонда, литературный консультант. Из приемной открывались двери в конференц-зал. И в конце зала, довольно большого — в три огромных окна — была еще одна дверь в небольшой кабинет секретаря Воронежской писательской организации. Чтобы позвать своего секретаря-машинистку или бухгалтера, надо было выглянуть из кабинета и крикнуть через два помещения в третье, как с одного берега на другой:

— Мария Григорьевна! Елена Михайловна!

Гордейчев решил установить в приемной звонок. Числился в нашей организации поэт Григорий Рыжманов. Этот уже старый человек за всю свою жизнь выпустил одну книжечку стихов, но зато он умел многое делать руками: отреставрировать мебель, врезать замок, починить проводку. Гордейчев привел Рыжманова, и они очень быстро, до начала рабочего дня, протянули провод из кабинета к столу секретаря-машинистки. Теперь в кабинете у секретаря Воронежской писательской организации за шторкой на окне была кнопка. Он нажимал на нее, и обе женщины (секретарь и бухгалтер) бежали к нему.

Многим писателям это новшество не понравилось. Гордейчева за этот звонок не раз потом критиковали на собраниях. Говорили: мог бы позвонить по телефону или вышел бы да позвал. Не барин ведь...

НОВАЯ КВАРТИРА

Первоначально Гордейчев получил квартиру недалеко от вокзала и Детского парка. К тому времени, когда мы вместе возглавили Воронежскую писательскую организацию, он успел обменять эту квартиру на другую, в центре города. В новой квартире были высокие потолки и длинный коридор; такой длинный, что он устроил из коридора тир. Купил духовую винтовку, повесил на входную дверь мишень. Отходил к ванной комнате в другой конец коридора и стрелял по мишени, стараясь попасть в яблочко.

Предложил мне стрельнуть.

— Нет, — сказал я. — Четыре года лазил по сопкам с карабином, когда служил в армии. Иногда стрелял издалека по оленям, настрелялся.

— Ну, тогда по рюмочке?

Мы выпили на кухне по рюмочке. До моего прихода он, похоже, приложился. Настроение у Гордейчева было веселое. Мы выпили еще по рюмочке. Настроение стало еще лучше. Гордейчев сидел прямо, держался твердо. Налил еще себе и мне. Я пытался рукой загородить рюмку. Он ее решительно отстранил:

— Мешаешь!

Набулькал. Выпили. Он посмотрел мне в лицо и проговорил, приложив руку к груди:

— Владимир Григорьевич — никогда!

Что — «никогда», было непонятно.

ДВЕ СТРОЧКИ ГОРДЕЙЧЕВА

В газете «Коммуна» напечатали новый цикл стихов Владимира Гордейчева. Я прочитал, в памяти остались всего две строчки, но зато они были по-настоящему хороши:

В балалайке что-то есть от улья,
Тронешь — по-пчелиному жужжит.

В середине дня встретились в Союзе писателей. Я все-таки выбрал время и сказал, что его последние стихи, напечатанные в «Коммуне» мне не понравились. Сказал осторожно:

— Володя, в твоей последней подборке две строчки хорошие.

— Только две?

— Да. Остальные стихи слабые.

Ему было это очень неприятно слышать. Однако он взял себя в руки и даже не наругал, сказал как-то беспомощно:

— Мне тоже в ответ хочется сказать тебе что-нибудь неприятное, но это недостойно...

Откинулся на спинку стула, и по его смущенному выражению лица было видно, что он переламывает себя в этот момент и сам удивляется, что это ему удается.

ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

В кабинете было два стола. Мы с Гордейчевым сидели напротив друг друга. За его спиной было окно с кнопкой на подоконнике, за моей спиной, у противоположной стены, сейф.

Сидели молча. Я сочинял поздравительный адрес Борису Дальнему, которому исполнилось семьдесят лет. Гордейчев просматривал какие-то документы. Неожиданно он спросил:

— Слушай, Эдуард Иванович, кого мы выдвинем на грамоту Министерства обороны?

Вопрос застал меня врасплох. Минуту подумав, я ответил:

— Наверное, Гончарова или Сидельникова. Они воевали и пишут о войне.

Мы продолжали заниматься своими делами. В конце рабочего дня Гордейчев снова спросил:

— Ну, так кого же мы все-таки выдвинем на грамоту Министерства обороны?

— Гончарова или Сидельникова. Можно Ющенко выдвинуть. Он тоже воевал. Гордейчев густо покраснел и, испытывая некоторую неловкость, заявил:

— Я себя хочу выдвинуть. Это поможет издаться в «Воениздате»...

ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ»

Издавался Владимир Гордейчев в то время много. Самые престижные издания хотели его печатать.

На работу я приходил, как правило, раньше всех. Не успел открыть дверь кабинета — звонок:

— Гордейчева.

— Его нет.

— Передайте ему, пожалуйста, что звонил Злотников. Пусть он нам по телефону продиктует два-три стихотворения.

— Хорошо, он вам позвонит. Вы будете до трех?

— Нет-нет, — запротестовал Натан Злотников. — Я хочу, чтоб это было за мой счет. Вы мне скажите, во сколько он будет, и я позвоню.

Я повесил трубку и подумал: вот это репутация. «Пусть продиктует по телефону...» И никакого сомнения, что это будет напечатано.

И, действительно, в июньском номере в том же году были напечатаны в журнале «Юность» три стихотворения: «Салют Победы», «Школа мастерства», «Побратимы».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО

Большое событие. 28 июня 1968 года появилось сообщение: Владимир Гордейчев победил на конкурсе имени Николая Островского. Ему вручили вторую премию. Первую не вручили никому.

Несколько дней подряд мы в Воронеже включали радио и телевизоры, чтобы услышать Гордейчева, чтобы увидеть лицо победителя.

Наконец, он появился сам. На другой день вышел на работу, засел в своем кабинете принимать поздравления. Увидел меня, махнул радостно рукой, показал на стул:

— Садись!

На столе лежали стопочкой поздравительные телеграммы. Я тоже его поздравил, сказал:

— Если бы где-нибудь далеко был, тоже прислал бы телеграмму.

— Ничего, — ответил он великодушно. — Я считаю, что от тебя есть телеграмма.

И весело заржал своей шутке.

РАЗГОВОР С МОСКВОЙ

Я пришел на работу к двенадцати часам. Гордейчева в кабинете не было. Я нашел его в журнале «Подъём» в кабинете Волохова. Он сидел в кресле главного редактора, звонил по счету в Москву.

Я молча кивнул с порога. Гордейчев закрыл рукой трубку. Разговор, видимо, был секретный. Он не хотел, чтобы я при этом присутствовал:

— Я больной. Не подходи ко мне. У меня ангина и температура.

— У-у-у! Это страшно, — сказал я.

Не стал ему мешать. Вышел и закрыл дверь.

БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Гордейчев заболел: что-то с сердцем. Я пришел проведать. Он сидел за столом тихий, осторожный в движениях.

Внезапная болезнь сердца испугала его. Он прислушивался к себе, но не отпускал меня, боялся остаться один в квартире. Расспрашивал о поездке на Дальний Восток. Я не хотел особенно распространяться, но начал говорить и уже не мог быстро остановиться. Незаметно появилась Ася в своих неслышных красных сапожках. Она остановилась в дверях.

— Это он рассказывает о Хабаровске, — сообщил ей Гордейчев,

— Здравствуй, — сказал я Асе.

Она постояла, помолчала. Ей хотелось сделать что-то приятное.

— Хотите, я вам кофе сделаю?

— Нет, — сказал я.

— А мне нельзя, — облегченно вздохнул Гордейчев.

Ася ушла и через некоторое время принесла две тарелочки. На каждой лежало по яблоку.

Испуг от болезни усиливал болезнь. Здоровый сильный малый стал бояться выходить на улицу. Я все же уговорил его прогуляться до вокзала. Мы шли неторопливо, разговаривали. Вдруг он остановился. Я спросил:

— Тебе плохо?

— Ничего, не волнуйся, сейчас пройдет.

Дрожащей рукой достал из кармана коробочку с таблетками, кинул в рот одну, постоял. Потом объяснил:

— Еще ничего, но что-то вроде руку свело. Может, это предчувствие? Давай где-нибудь посидим.

Мы перешли площадь, сели прямо на ступеньки у бокового входа в вокзал.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

После болезни сильно изменился. Стал не так резок в высказываниях, стал тянуться к людям спокойным, с которыми можно тихо поговорить, пофилософствовать.

Встретил меня на проспекте Революции недалеко от своего дома. И мы долго ходили от почты до книжного магазина. После четырех-пяти рейдов повернули на Комиссаржевскую, под деревьями, около его дома, остановились.

— Может, чайку? — неуверенно спросил Гордейчев.

— Нет, Володя, надо идти. Моя Елена уже давно дома.

— Ну, ладно, спасибо, что проводил.

И бодро, а на самом деле не очень бодро, зашагал к дому.

ТЕЛЕГРАММА СОЛЖЕНИЦЫНУ

Как я уже говорил выше, 1967 год стал для Гордейчева особенным. Его избрали секретарем правления Воронежской писательской организации. Меня назначили его заместителем. Он занимался творческими вопросами, я выполнял различные хозяйственные поручения. В конце года остались не использованными деньги. Я поехал по мебельным фабрикам области и закупил на все деньги столы. Это была особенная мебель — столы-аэродромы с толстыми гладко отполированными крышками; каждый в два раза больше конторского письменного стола. За такими столами в области и в городе сидели в больших кабинетах большие начальники.

Один стол мы едва втиснули в маленький кабинет Гордейчева. За другой стол уселся в своем просторном кабинете главный редактор журнала «Подъём» Федор Волохов. Из трех столов составили один длинный в конференц-зале Союза писателей — для всех остальных, так сказать. Мне приятно вспоминать, что это мы с Гордейчевым оставили такое наследство: письменные столы-аэродромы, которые многие десятилетия служили пишущим братьям.

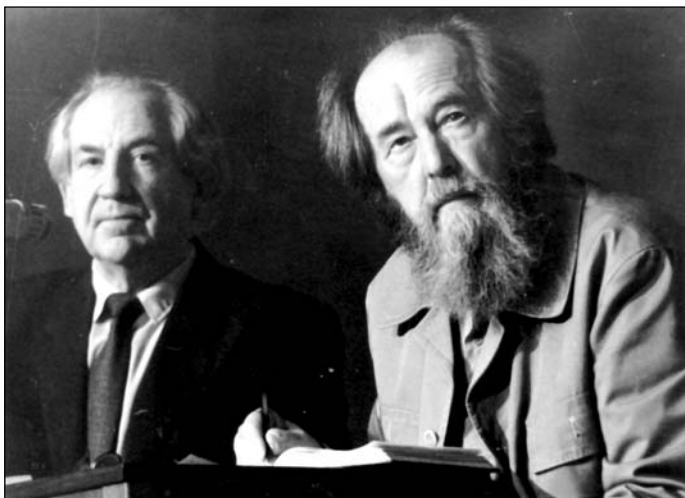
В конце года, в первых числах декабря, мы получили из Союза писателей РСФСР список писателей-юбиляров. Гордейчев просмотрел его и воскликнул:

— Слушай, тут Солженицын...

В это время начались гонения на автора, написавшего книгу о репрессиях «Архипелаг ГУЛАГ». Но писателю в следующем, 1968 году, исполнялось 50 лет, и в списке для поздравления среди прочих уважаемых людей значился Солженицын.

— Будем поздравлять? — спросил Гордейчев.

— Будем, — ответил я. — Нам же прислали список из Москвы. Они там лучше знают, кого надо поздравлять, а кого нет.



В. Гордейчев
и А. Солженицын

Обычно все поздравления для юбилейных адресов и телеграмм составлял я, а Гордейчев утверждал тексты и подписывал. Поздравительную телеграмму Солженицыну он сочинил сам. И я даже не уловил момента, когда телеграмма была послана. Текст телеграммы мне не был известен. Да и не содержалось в нем, как я потом узнал, ничего такого, что следовало бы знать и помнить мне, заместителю. Все выяснилось годы спустя,

Гордейчев опубликовал мемуары под названием «Телеграмма в Рязань». Текст телеграммы:

*«Писательская организация, Солженицыну. Воронежская писательская организация поздравляет Вас по случаю пятидесятилетия. Желаем здоровья, душевных сил, новых книг. Ответственный секретарь организации Гордейчев.
10 декабря 1968 года.»*

Далее он приводит текст письма из Рязани от тамошнего руководителя писательской организации Эрнста Сафонова:

«Дорогой Владимир, с наступающим Новым годом! Ваше приветствие нашему юбиляру было единственным от писательских организаций (кроме, разумеется, еще Рязанской) и весьма, как знаю, тронуло его... А просто телеграммы и письма — их сотни было. Жму руку. Эрнст Сафонов.»

4 января 1969 г.»

И еще одно письмо — от самого юбиляра. Владимир Гордейчев предваряет его комментарием: «Письмо отрывисто и лаконично: примечательная идеограмма высокого духовного пылания. (К сведению биографов писателя: публикуется впервые — В.Г.)

*«Воронежская писательская организация. Гордейчеву В.Г.
Друзья и коллеги! Тронут Вашим поздравлением, благодарю! Оно было несколько (сильно) неожиданно для меня, тем более ценно. Союз писателей меня не балует: Рязань да Вы.*

Не зная, как ответить всем поздравлениям, я сделал, конечно, шаг: написал письмо в «Литгазету». Она не напечатает, но копию шлю теперь Вам.

Ответно желаю всем бодрости, здоровья, удач с пером.

Жму руки.

Солженицын.

Рязань. 13.12.68.»

Текст письма-приложения.

«Копии: журнал «Новый мир»,

Рязанская писательская организация.

Воронеж (адрес Воронежа вписан в машинописную копию от руки. — В.Г.)

В редакцию «Литературной газеты».

«Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строчки, не придав ей искажительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить многочисленным поздравителям иначе, как посредством Вас.

Писателей и читателей, приславших поздравления к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменять истине. Моя единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России.

Солженицын.

*Рязань.
12.12.68.»*

Секретарь-машинистка Мария Кодина, как это было заведено в делопроизводстве Союза писателей, отпечатала текст поздравительной телеграммы в двух экземплярах. Один отнесла на почту и отправила за средства Союза писателей; второй экземпляр вместе с квитанцией подшила в папку для отчета в расходовании канцелярских средств.

Телеграмма была послана в трудное для Солженицына время. Вскоре его выслали из страны, лишили гражданства. Но еще до этого Гордейчев почувствовал, что его спокойная жизнь закончилась. Вот как он сам пишет об этом: «Телеграмма в Рязань ушла беспрепятственно, но уже очень скоро стал я ощущать, как дышит мне в затылок близкая готовность расплаты».

Поздравление с днем рождения известного писателя некоторые воронежские литераторы назвали «сволочной телеграммой в Рязань». В центральных газетах появились разоблачительные статьи; Солженицына называли предателем. И тут Гордейчев сделал, как мне кажется, неосторожный, ошибочный шаг. Он затребовал у секретаря-машинистки Марии Кодиной папку с подшитыми телеграммами и вырвал из этой папки страницу с поздравлением Солженицыну. Совершив это, Гордейчев как бы признал свою вину, хотя никакой вины не было.

Об уничтожении копии телеграммы в Рязань писатель В. Ющенко узнал от секретаря-машинистки Марии Кодиной, с которой был в приятельских отношениях. И «грянул гром», — пишет Гордейчев.

4 апреля 1969 года состоялось закрытое партийное собрание. Далее снова цитата из мемуаров Гордейчева:

«Двое выступивших в финале обращали внимание собрания на то, что ответсекретарь, по сути, не высказал слов покаяния, не осудил свой поступок, «не разоружился перед коллективом».

Одновременно вносились предложения. За политически вредную мою, по мнению коллег, вылазку следовало бы меня исключить из партии, вынести выговор-«строгач», объявить просто выговор, вывести из состава партийного бюро и лишить права делать доклад на предстоящем писательском отчетно-выборном собрании.

Последняя формулировка прошла подавляющим числом голосов... И так, из партбюро меня шибанули. Из редколлегии «Подъёма» вывели. С выборной моей работы сняли...»

Ужасное преступление совершил Гордейчев — поздравил известного писателя с днем рождения не только от себя лично, но и от Воронежской писательской организации, поскольку был ответственным секретарем этой организации.

Телеграмма из Воронежа оказалась единственной, хотя список получили все писательские организации, но все благополучно его проигнорировали, не поздравили Солженицына с 50-летием, не пожелали ему творческих успехов.

Много лет спустя Гордейчев посчитал необходимым рассказать подробности этого события. С удовольствием уточнил, что не раскаялся. Есть доказательство: два человека обвинили на собрании, что не раскаялся.

Поздравил, потому что хотел и должен был поздравить.

Свои воспоминания Гордейчев опубликовал в 1992 году в трех номерах воронежской молодежной газеты «Утро». Я в это время жил в городе Тольятти, работал завлитом в театре «Колесо». Гордейчев прислал мне вырезки из трех номеров «Утра» вместе с письмом. Оно короткое, привожу полностью:

«Эдуард Иванович, здравствуй!

Посылаю тебе для знакомства материал о телеграмме когдатошней в Рязань, Солженицыну. В воспоминаниях (можно и так назвать эту работу) есть твое имя. Прими на память.

Целиком труд этот представляет нечто большее, чем нынешний печатный вариант. Я надеюсь, что полностью работа увидит свет в «моем» первоначальном виде. «Утру» (прежде это был «Молодой коммунар», переименованный ныне), однако, я признателен уже за нынешнюю публикацию.

В общем, будущая публикация заявлена. Если «Подъём» наберет должное число подписчиков и удержится на плаву, будет шанс у моей работы.

Послание тебе шлю из хлопот: дни Кольцова-Никитина.

Привет тебе от Панкратова.

Поклон от Аси.

20 октября 1992 г. В.Гордейчев.»

«В воспоминаниях есть и твое имя...» Речь шла о досрочных выборах в новое бюро в 1969 году. Меня, молодого члена Союза писателей, впервые выдвинули в состав бюро. И я набрал больше голосов, чем Гордейчев. Именно в связи с этим голосованием Гордейчев вспомнил мое имя. «Прими на память» — это как благодарность за то, что я тогда понял, в каком психологически трудном положении оказался бывший ответственный секретарь Воронежской писательской организации. Вот строки честного признания из мемуаров «Телеграмма в Рязань»:

«Доклад на отчетном собрании писателей я все-таки делал. «Коридорная оппозиция» показала себя: работу писательского руководства коллеги признали удовлетворительной. Тем не менее, в ответсекретари дорога мне была закрыта. Чудом удержался я в составе нового писательского бюро: молодой Эдуард Пашнев решительно снял свою кандидатуру в мою пользу».

Прошли годы. Я забыл об этом эпизоде из нашей общей биографии. А Владимир Гордейчев помнил.

В восьмидесятые годы его снова избрали на должность ответственного секретаря Воронежской писательской организации. А потом настало время, и Солженицын вернулся в Россию. Телеграммой в Рязань можно было гордиться. О телеграмме в Рязань можно было писать воспоминания.

АСЯ ЯРЦЕВА

(Корректор)

Ася Ярцева — женщина некрасивая. Фигура без признаков женственности. Под кофточкой, слегка обвисшей, едва видны бугорки груди. Лицо плоское, как дорога. Через весь лоб проходят две складки, будто проехали салазки и остался след от полозьев. Но что-то было в этом плоском лице такое, что заставляло вглядываться в глаза, большие, всегда удивленные.

— Скажите какую-нибудь новость.

Она всегда ждала новостей, каких, сама не знала. В среде редакторов и писателей существовало понятие «писательская жена». Это женщина, которая расстается с одним писателем и тут же выходит замуж за другого писателя.

Ася Ярцева была «писательской женой». Она вышла замуж за Юрия Гончарова, повести и рассказы которого считала скучными. Может быть, поэтому семья и распалась. И тут же Ася вышла замуж за поэта Владимира Гордейчева.

«Писательские жены» часто работают там, куда часто приходят писатели: в газетах, издательствах, журналах. Ася работала корректором в журнале «Подъём», где печатались, а потом работали (в разное время) и первый муж, и второй.

Но и находясь в замужестве, будучи верной женой, она продолжала интересоваться другими писателями.

Ася Ярцева тайно была влюблена в Гусева Володю, талантливого критика. Он знал об этом, флиртовал с ней в пределах возможного. Сядет на стул, откинется на спинку и вдруг скажет:

— Вы, Ася, inferнальная женщина.

Ася — хлоп, хлоп глазами. Карандашик возьмет и небрежно, вроде бы машинально на белой мраморной доске чернильного прибора запишет («инфернальная»). Как только Гусев уходил, она доставала все свои корректорские справочники и словари, находила редкое слово, чтобы узнать: комплимент это или что-нибудь неприятное.

А Гусев уходил в свой умный университет и через неделю, забежав на минутку, взмахивал кокетливо портфелем и награждал женщину новым эпитетом:

— Бризантная вы женщина, Ася.

И снова она листала словари, благо, их у нее было много: корректор все ж таки.

ДУХИ ДЛЯ АСИ

Весна. Володя Гордейчев идет, хромая, через улицу. Я иду ему навстречу по пешеходной дорожке напротив кинотеатра «Пролетарий». Увидел меня, заулыбался:

— Салют!

— Привет!

Мы пожали друг другу руки, двинулись вместе в ту сторону, с которой я только что шагнул на «зебру». Он как шел, так и шел, а мне пришлось вернуться. Задержались на тротуаре, чтобы постоять-поговорить. В руках у Гордейчева — коробка. Спрашиваю:

— Что это у тебя?

— Духи.

Хохотнул, открыл крышку коробки, достал флакончик:

— Маленький, а 10 рублей стоит.

— Даме какой-нибудь?

— С Асей поругался... Ей!

Я понимающе кивнул.

МОЛОКО

Комната № 17 в редакции журнала «Подъём» славилась тем, что когда писателям надо было срочно распить бутылку «Столичной», они брали ключ и закрывались там. Если мы с Зиновием Яковлевичем уже были на работе, просили нас отлучиться на полчаса в помещения основной редакции или же в Союз писателей,

кабинеты которого и конференц-зал находились в противоположном конце коридора.

Этот кабинет считался тайной комнатой для выпивки. Он же был и тихий — для работы. Ася часто вычитывала здесь корректуру журнала, приходя на работу пораньше. В небольшом стеклянном шкафчике она хранила свои словари и справочники. Иногда она делала свою работу и в нашем присутствии. Мы ей старались не мешать.

Едва уселся за свой стол, появился Воищев. Я отодвинул рукописи в сторону, мы немного поговорили о последних публикациях в журнале «Юность». Зашел по дороге в университет Володя Гусев. Ему нужен был Анчиполовский, а того не оказалось на месте.

— Я подожду, — сказал Гусев.

Нас было уже трое в маленьком кабинете, начались разговоры обо всем и ни о чем. Гусев и Воищев начали спорить о неверности женщин на примерах из литературы. И тут же дверь распахнулась — появилась Ася, чтобы взять из шкафчика справочник. Она достала с верхней полки толстую книгу, села на гостевой стул, положила справочник себе на колени. Уходить она не собиралась. Здесь находился Гусев. Он был ей интересен. Она даже вмешалась в спор:

— Мальчики, как вы плохо относитесь к женщинам.

Спор после этого замечания Аси закончился. Юра Воищев надел свою мохнатую кепку и ушел, всем помахав рукой. Мы остались втроем. Ася снова полезла в шкафчик, достала с нижней полки банку молока, стакан и коржики. Спросила у нас:

— Хотите?

— Я — нет, — сказал Гусев.

— Я тоже — нет, — сказала я.

Ася отмахнулась от наших слов, поставила на мой стол банку с молоком, положила коржики.

— Берите, не кокетничайте.

Мы взяли по коржику, начали жевать. Ася налила молоко в стакан и протянула Гусеву. Он взял и некоторое время держал в руке, не зная: пить или не пить. Банку с остатками молока поставила передо мной. Гусев ел коржики и запивал из стакана. Мне пришлось пить прямо из банки. И тогда Ася сказала свою историческую фразу:

— Впервые в этой комнате пьют молоко.

Гусев так смеялся, что поперхнулся.

АСЯ И ВЕРБА

Приоткрылась дверь, и в узком дверном проеме появился пучок зеленоватых веточек с белыми пушистыми почками. За ним протянулась рука и, наконец, появилась Ася.

— Сидите, а там — весна!

— Примавера! — сказал Зиновий Яковлевич.

— Где ты наломала столько веток? — удивился я.

— Купила на проспекте.

Она взяла банку, сходила за водой. Поставила веточки в банке на край стола, чтобы не мешал читать корректуру; потом передвинула на середину. Отошла на несколько шагов, полюбовалась.

— Натюрморт, — сказал я.

— Как живете?

— Ничего.

— Расскажите какую-нибудь новость.

У этой женщины ненасытная жадность к новостям. Каждый раз она с надеждой смотрела на меня, на Анчиполовского, на всех, кто приходил в редакцию, с надеждой, что вот сейчас ей расскажут какую-нибудь новость, которую она вот уже столько лет ждет и никак не может дождаться.

ЛЕДОХОД

Я пришел в редакцию раньше всех. Мне надо было отредактировать статью, которая шла в номер. Я надеялся, что в тихую комнату № 17 раньше двенадцати никто не придет. Анчиполовский с утра был в театре вместе с другими театральными критиками. Там — сдача спектакля. Но распахнулась дверь, и на пороге Ася в распахнутом пальто, с непокрытой головой. Волосы, завитые колечками, встрепаны, на шее небрежно завязанная голубая косынка.

— Есть новость, — сказала она и посмотрела на меня веселыми глазами.

— Здравствуй, Ася! Какая?

— На улице тает снег.

— Тает, — согласился я.

— Пойдем на речку.

— Зачем?

— Посмотрим ледоход.

Она не сняла пальто, не присела к столу, ждала, чтоб я тоже встал. И я встал, потому что почувствовал: глупо в такой веселый, солнечный день сидеть в тихой комнате.

В главной редакции все еще никого не было. Я закрыл на ключ комнату № 17. Мы вышли из подъезда. Несколько шагов по проспекту Революции, поворот за угол, через площадь Мясного базара, мимо церкви к спуску с горы. Вдоль длинной лестницы бежал ручей, становясь книзу все шире и мощней. Мы, шутя, пробежали несколько маршей, стараясь обогнать ручей. При этом Ася поймала мою руку и держала ее, пока мы бежали. Внизу, на набережной, стояла еще одна церковь, полуразрушенная, во дворе которой ремонтировали катера, готовясь к весенней навигации.

Миновав церковь, мы пересекли улицу и вышли к реке...

Никакого ледохода не было. Далеко, вверх по течению, где-то за Чернавским мостом, раздавались взрывы. Это саперы взламывали лед, чтобы предохранить быки моста от крупных глыб. Таяли сугробы потемневшего, ноздреватого снега, блестел лед. Мы спустились с набережной к самой кромке льда. Некоторое время стояли молча под солнцем, которое ощутимо грело, но вдоль реки дул холодный ветер. Ася прижалась ко мне:

— Мне холодно...

Я обнял ее и поцеловал в губы. Она ответила, посмотрела на меня широко открытыми глазами, стараясь узнать еще одну новость — о самой себе. Еще вчера она не знала, что может вот так прийти со мной на речку и обниматься на пустынном берегу. Мы долго целовались; не потому что любовь поразила молнией, а потому что светило солнце, блестел лед, а мы были молодые.

Я знал, что мне этого делать не надо. И Ася знала, что ей этого делать не надо. Но мы все теснее прижимались друг к другу.

Ася целовалась жадно открытым ртом, как птица, которую кормят в гнезде, возбуждая меня все больше и больше, прижимаясь ко мне телом в распахнутом пальто. Но кругом был лед, снег и по набережной шли люди...

Умер Володя Гордейчев. Ася осталась одна в квартире, где на входной двери все еще висела мишень, в которую ее муж стрелял из воздушной винтовки.

Позвонила Ася — Виктору Панкратову. А он рассказал мне об этом звонке в письме.

Квартира большая, а пенсия маленькая. Почти треть денег уходит на оплату жилья. Но Ася не меняет квартиру и не сдает ее. Повела печальную повесть о двух пенсионерах, которые за три месяца с большим трудом смогли наскрести сумму, необходимую для покупки утюга. И вдова поэта спросила:

— Витя дорогой, что делать?

— Ты можешь понемножку продавать Володину библиотеку, — посоветовал он.

— Ты поэт, Витя. Книжки никто не берет. Я пробовала, копейки какие-то предлагают. Что делать, Витя, что делать?

— Во-первых, — ответил мой друг, — не терять присутствия духа. И вообще, если у нас с тобой есть провианта на три дня, то надо его немедленно съесть.

Совет голодного человека. Трудно жилось после горбачевской перестройки писателям, которые редко печатались или не печатались вовсе. В другом письме он мне сообщил:

— В свой день рождения пришла Колесникова. Она предложила отметить ее прием в писательскую гильдию. Принесла пива и неплохую закуску. Во всяком случае, в этот день я был радостно сыт.

При первом чтении все нормально: сыт, а не голоден. А потом начинаешь понимать: он был случайно сыт в этот день.

ЗИНОВИЙ АНЧИПЛОВСКИЙ

(Заведующий отделом критики)

ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПРИБОР

В кабинете Федора Волохова в середине большого стола — массивный чернильный прибор с белой мраморной доской. К доске привинчена узкая трубочка в виде первой ступени ракеты. В эту трубочку вставлялась вторая ступень: шариковая ручка-ракета. День был теплый. Федор Сергеевич пришел в распахнутом пальто, в легкой кепочке с маленьким козырьком.

— Ну, как вы тут? — спросил, входя в узкую комнату, где у окна сидела за машиной Анастасия Степановна.

— Работаем, — ответила секретарь-машинистка.

И начала стучать по клавишам, перепечатывая какую-то рукопись.

Главный редактор вошел в кабинет, где на полу лежал белый ковер с бахромой по краям. И через минуту раздался крик:

— Степановна!

Секретарь-машинистка появилась в проеме дверей, строгая, невозмутимая:

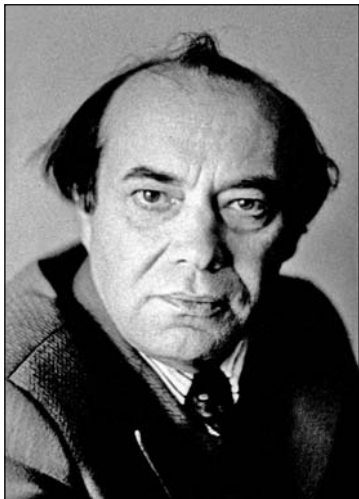
— Слушаю вас, Федор Сергеевич.

— Кто опять раскрутил мою ручку?

— Зиновий Яковлевич заходил в кабинет, звонил в Москву.

— Зиновий? Где он?

Анастасия Степановна медленно повернулась к нему спиной, пошла в комнату № 17 — звать Зиновия. Через несколько минут в кабинете главного редактора появился Анчиполовский. Волохов уже сидел за своим столом, читал рукопись и некоторое время не замечал заведующего отделом критики.



Зиновий Анчиполовский

— Федор Сергеевич, вы меня вызывали?
— А-а-а! Зиновий! Ты опять раскрутил мою ручку.

— Я?

— А то кто же?

— Что вы, Федор Сергеевич, я только спички ломаю.

Федор Сергеевич строго посмотрел на Анчиполовского, который стоял перед столом, держа руки по швам, и, не выдержав своего строгого вида, расхохотался. Была весна, солнечный апрельский день. Главный редактор пришел в редакцию в хорошем настроении. Он хохотал с удовольствием, мелко трясясь животом, обтянутым красной рубахой.

— Ты, ты, Зиновий! Ну, что мне с тобой делать? Уволить? Но что я напишу в приказе: уволить за то, что все время крутит ручку на столе главного редактора?

ЧТЕНИЕ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Журнал «Подъём» располагался на третьем этаже. Основные комнаты были рядом с редакторским кабинетом и одна на отшибе. Там стоял большой шкаф для книг из имения Эртеля. И стояли напротив друг друга два стола. За одним сидел я, за другим — Анчиполовский. Это был 1969 год, когда мой отдел стал называться отделом поэзии и публицистики. Меня переселили из шумного кабинета Матюшина с железным сейфом — в тихий кабинет, чтобы я мог сосредоточиться на редактировании ответственных материалов.

Мне нравился этот тихий кабинет № 17, где стоял шкаф черного дерева, где заведомо критики сидел в кресле со львами. И сам Зиновий Яковлевич мне был симпатичен своей сосредоточенностью в работе над рукописями, когда он одной рукой держался за лоб, а другой тщательно правил фразы в статьях своих авторов.

Потом я узнал: это была особенная сосредоточенность. У него болела голова, и он занимался редактированием и писал свои статьи, преодолевая боль. Ему даже трудно было читать художественную литературу. И он вдруг, устав от редактирования, откидывался на спинку кресла и говорил:

— Ну, что, Эдик, давай читаем?

Это означало: я должен читать, он будет слушать. Что читать, выбирал Зиновий Яковлевич.

В очередной книжке «Нового мира» была напечатана повесть Войновича «Мы здесь живем». Повесть мне понравилась с первых страниц. Я с удовольствием ее читал. Зиновий Анчиполовский слушал. На гостевом стуле сидел Юрий Третьяков, зашедший на минутку. Он сначала только присел, потом положил ногу на ногу и остался слушать.

Вошел некий Султанов. Он писал небольшие критические заметки. Присутствовал на собраниях в Союзе писателей. Возник неизвестно откуда, кажется, приехал из Москвы.

Я его все чаще и чаще видел в редакциях газет «Коммуна» и «Молодой коммунар». Он появлялся с листочками своих статей в руках, приносил и к нам свои статьи, более объемные, так сказать, в журнальном формате.

Султанов был мужик крупный, но одевался так, что становился похож на женщину. Его сильный, накаченный торс плотно облегла тонкая тенниска, сквозь которую выпирали мышцы груди с сосками, которые так и рвались наружу.

Едва дверь открылась, я прервал чтение. Юрий Третьяков вздохнул:

— Какую песню испортил, дурак.

Султанов не обиделся.

— Знаете, как сейчас называется Литературный институт?

— Как?

— Поллитратурный институт имени Горького.

Он сообщил нам это и ушел к Матюшину.

— Дурак-дурак, — медленно проговорил Третьяков, — а пришел с хорошим каламбуром.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ МЕМУАРЫ

Зиновий Яковлевич вошел расслабленно, помахивая портфельчиком.

— Здравствуй, Эдик.

Протянул руку с мягкой, безвольной ладонью. Затем повесил на гвоздь свой плащ, неторопливо уселся в кресло. Некоторое время ничего не делал, сидел, вздыхал. Я за своим столом — напротив. Смотрю на него молча. Зиновий Яковлевич на меня смотрит, но не видит. Вздохнул и опять спрашивает, словно только сейчас увидел:

— Ну, как дела, Эдик, чем занимаешься?

— Редактирую статью.

Мой сосед по кабинету встал, прошелся по кабинету:

— Не хочешь почитать вслух записки Шебуева?

Теперь уже я вздохнул. Мне не хотелось читать записки провинциального самарского актера. Зиновий Яковлевич достал книжку из портфельчика, положил на стол. Я поднялся со своего места, сделал несколько шагов по кабинету, взял книжку.

Зиновий Яковлевич — театральный критик. Он начал писать книгу «Театральный Воронеж». Хочет под таким заголовком издать свои рецензии и статьи. И для этого ему нужно начитывать всякие сопутствующие материалы по теме «Провинциальный театр в России».

Тишина удаленного кабинета способствовала неторопливому чтению. Зиновий Яковлевич сидел за своим столом, подперев голову рукой. Но чтение наше длилось недолго. Я захлопнул книжку, вежливо сказал:

— Это не интересно.

СИГАРЕТА И ЮРА ВОИЩЕВ

Анчиполовский сидел, хмурил лоб, потом машинально брал ручку, что-то вычеркивал в рукописи. Пришел Юрий Воищев. При появлении огромного увальня в распахнутом пальто, с широкой, как у клоуна, улыбкой на лице, с удовольствием отвлекся от работы. Воищева он выделял среди других молодых писателей и всегда ему был рад. Выражалось это в решительных действиях. Зиновий Яковлевич отодвигал рукопись в сторону, откидывался на спинку кресла готовый поговорить. Если при этом присутствовал кто-нибудь, кто в это время курил, просил:

— Дай и мне сигаретку.

Курить он не умел, но делал вид, что для него это плевое дело. Сидел, затыкался, выпускал дым.

Пришел студент из Воронежского университета:

— Моя фамилия Лободов. Вам меня рекомендовал Владислав Петрович Скобелев.

— А-а-а, помню. Эдик, что бы нам дать на рецензию?

Я начинаю мучительно вспоминать, какие книги вышли. Но Зиновия Яковлевичу мои подсказки не требуются. Он спрашивает не за тем, чтобы получить ответ, а просто так, чтобы заполнить паузу, пока он будет думать. Надумав, достает тощую книжонку Бориса Дальнего «Юность клоуна».

— Вот что я вам дам. Это старый писатель. Пишет он неважно, но надо его похвалить. Прочтите, если не понравится, не надо писать. А может, понравится. Бывает так.

ВОЛОВИК

В наш кабинет № 17, где мы с Зиновием Яковлевичем снова собирались читать вслух театральные мемуары Шебуева, зашел поэт Георгий Воловик. Он сделал несколько шагов и остановился на середине кабинета. Шаги его были неуверенные, и стоял он, покачиваясь.

— Здравствуй, Георгий, — приветствовал его Зиновий Яковлевич. — Ты кого-то ищешь?

— Нет, уже нашел.

— Выпил ты здорово, Георгий.

— Я? — удивился Воловик. — Нет.

Зиновий Яковлевич поднялся из кресла, слегка заикаясь на трудном слове, проговорил:

— Я тебе квалифицированно говорю. Шел бы ты домой.

ИТАЛИЯ

Обком комсомола собирал туристическую группу для поездки в Италию. Я тоже записался. Людмила Дербина в это время работала в университетской библиотеке. Я зашел к ней, взял учебник итальянского языка. С этим учебником заявился в редакцию «Подъема».

— Приветствую вас, Зиновий Яковлевич. Нужна характеристика.

— Зачем? — скучно спросил он.

— Хочу поехать в Италию. Вот взял учебник, буду изучать итальянский язык. Анчиполовский сделался еще более скучным.

— Знаешь что, — сказал он, — напиши сам. А я отредактирую и подпишу.

Конечно, я не стал сам на себя писать характеристику. Я попросил это сделать Елену. Моя жена написала такую восторженную характеристику, что Зиновий Яковлевич два дня сидел над ней, морща лоб и вычеркивая лишние слова.

Замечательная характеристика, которую дала мне жена, не помогла. В состав делегации, которую воронежский комсомол отправлял в Италию, меня не включили.

ДОКЛАД БРЕЖНЕВА

Анчиполовский забежал в кабинет Волохова, где собралась вся редакция в панике:

— Братцы, я не читал доклад Брежнева, а мне сейчас идти на обсуждение спектакля «Горькие травы». Кто-нибудь читал?

— Я читал, — сказал я.

— Ну, что там?

— Если хотите, я вам прочту.

Мы энергичными шагами двинулись в нашу комнату № 17. Я достал из портфеля газету, разложил ее на столе. Прочитал ему два абзаца из всего доклада. Один о том, что решения XX съезда остаются в силе, и второй о том, что критика недостатков не запрещена.

Анчиполовски снял с гвоздя шляпу. И уже открыв дверь, спросил:

— Что же мне все-таки говорить? О «Горьких травах»? Монастырский там зашикает Сталина.

— Критиковать, — посоветовал я.

Он вздохнул, нахмурил брови и засеменил по коридору.

ЖУРНАЛ «МОЛОДОЙ КОММУНИСТ»

Открылась дверь кабинета, вошел Зиновий Яковлевич, посмотрел на меня внимательно

— Эдик, ты один?

— Я всегда один, пока вас нет.

Не обратил внимания на шутку. Стянул с себя плащ-пальто, на нем белоснежная рубашка, галстук, костюм. Он и раньше одевался опрятно. Но с тех пор как женился на Алле Борисовне Ботниковой, университетском профессоре, его рубашки словно бы стали еще белее. Спрашивает:

— Читал журнал «Молодой коммунист»?

— Нет, а что там?

— Статья. Говорят, разделили пьесу Андреева «Рассудите нас, люди». Ты прочитай, мне интересно твое мнение.

Анчиполовский — театральный человек. В Воронежском театре драмы только что поставил эту пьесу Монастырский. А Зиновий Яковлевич собирался писать рецензию для газеты «Коммуна».

ЗАГОЛОВОК ДЛЯ АНЧИПОЛОВСКОГО

Заказал разговор с Москвой из кабинета Волохова по счету и сидит, ждет. Одну руку положил на телефон, другую руку на рукопись моей статьи «О движении русского языка». Потом вдруг вспоминает третье дело. Откидывается резко на спинку стула:

— Эдик, придумай мне заголовок для книжки. Я назвал ее «Театральный Воронеж», но мне сказали: это плохо.

Я начинаю придумывать. Предлагаю с ходу:

— У Маяковского есть: «Театр не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло». Что-нибудь из этого вывернуть.

Он морщится, машет рукой и затем наклоняется над рукописью моей статьи, внимательно читает. Забывшись, начинает ковырять пальцем в носу. Читать долго он не может. Берется рукой за лоб. На лице страдальческое выражение:

— Голова болит, ничего не могу делать.

Вздыхает, отодвигает на край стола рукопись, чтобы поговорить. Говорит он всегда об одном: о своей больной голове. А он должен написать книжку о театре. Раньше скрывал, что болит голова. Теперь не скрывает. Книгу он вымучивает по одной фразе. Напишет, походит по кабинету, опять присядет, подумает, напишет.

Вдруг я узнал: Анчиполовский мой ровесник. А между тем, я его называю:

— Зиновий Яковлевич.

А он меня:

— Эдик.

Эта мысль мне пришла в голову, когда Павлу Касаткину стукнуло 50 лет. Я говорю:

— Зиновий Яковлевич, вам повезло. Павлу Касаткину уже 50, а он все Паша. А вас давно зовут: Зиновий Яковлевич.

ГОРДЕЙЧЕВ И АНЧИПОЛОВСКИЙ

Сидит с унылым видом над рукописью скучной статьи. Сидит за закрытой дверью один и смотрит не в рукопись, а в пространство. Я это сразу увидел, толкнув дверь, чтобы узнать: есть кто в этой редакционной комнате или она заперта и надо идти за ключом.

Зиновий Яковлевич пугается внезапно распахнувшейся двери. Но затем на его лице проступает вялая радость. Радует его не тому, что я пришел, а тому, что появился какой-то человек, который нарушил его однообразное безвольное сидение за столом.

Я сажусь на стул, вплотную придвинутый к его столу, сдергиваю с головы берет, кладу вместе с портфелем на колени.

— Какие новости? — спрашивает Зиновий.

— Никаких.

Он закрывает рукопись и, забыв, что только что спросил у меня, снова говорит:

— Ну, какие новости?

— Никаких, сижу дома, работаю.

Он снова отвлекается. Мое присутствие прибавило ему энергии, и он торопится навести порядок на столе, перекладывает журнал с левой стороны на правую. А на левой стороне находит под журналом письмо, на которое уже давно надо ответить. Найденное письмо кладет на середину стола, прямо перед собой. Занят он только собой. Поэтому, забыв, что уже спрашивал, снова задает все тот же вопрос:

— Ну, какие новости?

— Никаких.

— Да, — вспоминает он, — у Владимира Гордейчева опять приступ.

— Приступ?

— Сердце! Аська второй день не выходит на работу. Надо навестить, но что-то мешает. Я умом понимаю, что надо, все-таки вместе работаем. В последней книжке он опять поместил стихотворение против эстрадных поэтов. А это, сам понимаешь, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава. Зачем он выступает против них? Сам себе хуже делает.

Все это он говорит мне, зная, что у меня с моим другом и наставником творческий конфликт. Гордейчев — член редколлегии журнала. Он считает, что мою статью «О движении русского языка» не надо печатать в «Подъёме». А Зиновий Яковлевич поставил статью в номер. Да, все так, вроде бы я должен сочувствовать колебаниям Анчиполовского. Но мой друг, выступивший против меня и против эстрадных поэтов, серьезно болен, и это меня беспокоит больше, чем моя статья.

На лице у Зиновия Яковлевича всегда такая тоска, такая скука. Глаза у него с такой же унылостью светятся, как его небольшая лысина. Оживляется он ненадолго.

— Ну, как дела, Эдуард Иванович?

— Ничего.

— Написал статью для «Юности»?

— Написал. От имени Галки Галкиной. Это теперь мой псевдоним: Галка Галкина.

Я действительно написал критическую статью о поэзии. Название взял из стихов Гордейчева: «О слове, поставленном на ребро». Это в стихах Гордейчева звучит как признание, что у него часто слова стоят на ребре, вбитые в строчку. Стихи получаются тесные. Ну, конечно, не только у него одного встречаются насильно вбитые между строк слова.

— Там, конечно, будет только про Фирсова? — спросил зав. отделом критики «Подъёма».

— Нет, почему же, и про Гордейчева.

Оживился:

— Серьезно? И ты ему скажешь, что это ты написал?

Я пожал плечами:

— Спросит — скажу.

Зиновий Яковлевич помолчал, посмотрел по сторонам, поманил рукой:

— Иди сюда, что-то скажу.

Я подошел к его креслу, сел рядом на стул. Он еще раз огляделся по сторонам, сказал шепотом:

— Я думаю, лучше будет, если не скажешь. Он же этого, по своей дубовости, не поймет. Надо, чтобы его Москва стукнула, а не Эдуард Пашнев. Он подумает, что это ты его потому, что он возражает против публикации твоей статьи о языке. Я-то отлично понимаю, что ты не поэтому, но лучше не говорить.

— Насчет «дубовости» возражаю. Гордейчев предан литературе, русскому языку, движение которого понимает иначе, чем я. Основная черта в нем: служение литературе. Он это доказал стихами и резкостью по отношению ко многим, в том числе и ко мне. Это всегда честно, хотя порой и несправедливо. Поэтому и я пишу о его стихах честно, что словам в его строчках бывает тесно, что они вбиты, а не поставлены. Но это тоже надо уметь — вбить необходимые слова в строчку. Уверен: он мою критику поймет правильно и даже одобрит. Я увидел в его стихах то, что и он после прочтения увидит.

После разговора с Анчиполовским я шел по проспекту Революции и думал: Зиновий Яковлевич хороший человек, ко мне хорошо относится. Почему же он так обрадовался, что кто-то покритикует стихи Гордейчева от имени Москвы? А сам регулярно на своих страницах в журнале печатает статьи Гордейчева. Они идут не только в «Подъём», он помещает их потом в общих критических сборниках. Очевидно, мы честны и добры и одновременно несправедливы. Эта амбивалентность заложена в каждом человеке.

КВАРТИРА ДЛЯ ЧЕМЕКОВА

Вдруг встретились в коридоре перед входом кабинет № 17.

— Здравствуй, — торопливо сказал Зиновий Яковлевич, — хочешь, скажу новость?

— Хочу.

Зиновий поглядел: нет ли кого за моей спиной? Там никого не было. Он поманил меня в кабинет:

— Давай зайдем.

Мы зашли в кабинет. Зиновий Яковлевич плотно закрыл за собой дверь, пред-варительно выглянув в коридор.

— Сегодня Игорь Чемеков сказал Волохову: «Мне надо дать квартиру в центре города». Только стал начальником, и уже квартиру в центре. Какая гнусь!

Игоря Чемекова назначили уполномоченным Литфонда. А это — путевки в Дома творчества, распределение квартир, пособий.

Я неопределенно пожал плечами:

— Всем нужны квартиры.

— Что ты говоришь, — перебил он меня. — Он же только приехал, получил одну квартиру... Волохов его выгнал из кабинета.

СКЛАДКА НА ЛБУ

Сидим в кабинете Гордейчева. Анчиполовский тоскливо смотрит в окно, взды-хаает.

— Растолстел ты что-то, Зиновий! — говорит Гордейчев.

— Да? Заметно?

Я посмотрел, говорю:

— Складка у вас, рассекающая лоб, становится все меньше и меньше.

Зиновий быстро схватился за лоб, словно хотел уберечь складку. Погладил ру-кой затылок.

— Это, братцы, мне не нравится. Так я могу потерять интеллектуальный об-лик.

— Есть очень хорошее средство, — сказал Гордейчев. — Спортом надо занимать-ся, спортом.

Зиновий Яковлевич только вздохнул.

ЗНАЧОК

Журнал «Подъём», тихая комната № 17. Открыв дверь, я увидел... Малень-кий Анчиполовский стоит посреди комнаты, а около него громоздкой фигурой возвышается Виктор Панкратов.

— Здравствуйте! — — сказал я.

— Привет, — ответил Виктор.

Маленький лысенький Анчиполовский смущенно хихикнул. Он стоял перед Виктором как школьник. А тот прикалывал ему на лацкан пиджака значок с изоб-ражением футболиста. Время от времени Зиновий Яковлевич протестовал:

— Я же не футболист, а ты — футболист. Зачем мне это?

— Ничего, — отвечал Виктор.

— Нет, я же не футболист, а ты — футболист.

— Ничего. Только не снимать.

— Ладно, — покорился Зиновий Яковлевич.

Он отошел от Виктора и сел за свой стол. А Виктор, выпятив богатырскую грудь, стоял напротив его стола и улыбался.

МОРЖ

В кабинете главного редактора всегда кто-нибудь находится, независимо от того, на работе Волохов или нет. Любой из работников редакции мог взять ключ, открыть дверь. Мы этим пользовались. С телефона главного редактора можно было позвонить в Москву по счету. С остальных телефонов этого сделать было нельзя.

Волохов иногда приходил, прогонял всех. Но в следующий раз все опять соби­рались в его просторном кабинете: и редакционные работники, и писатели, при­шедшие с рукописью или просто поболтать.

Мы сидели, обсуждали новости: я, Анчиполовский, Гридчин. Неожиданно вошел какой-то дядька в соломенной шляпе. Мы с Анчиполовским одновременно выстре­лили в две пары глаз: дескать, кто такой? Зачем пришел? Но тут Гридчин сказал:

— Заходи, садись, Митрич.

Мы поняли: значит, к нему. И тут же потеряли всякий интерес к мужику.

— Ну, как, Митрич, купаешься? — спросил Гридчин.

— А как же.

Оказывается, пришел морж. Через пять минут Анчиполовский — весь внима­ние. Он болел, перепробовал все лекарства, все народные средства. Оказывается, можно еще стать моржом. Зиновий Яковлевич встал с кресла, начал взволнован­но ходить по кабинету.

ЖЕНА

Анчиполовский жил в Москве. Его, московского критика, как и Гордейчева, при­гласили в 1956 году на работу в журнал «Подъём». Союз писателей выделил заведующему отделом критики однокомнатную квартиру в центре города, непо­далеку от стадиона «Труд». Из окон квартиры и с балкона хорошо просматри­валось зеленое поле с воротами. Можно было бесплатно наблюдать игру футболис­тов во время воскресных матчей. Но Анчиполовский не интересовался футболом. У него и телевизора не было.

Зиновий Яковлевич считал себя высоким интеллектуалом и с презрением от­носился к ящику, где показывали тот же самый футбол. Интересовался он исклю­чительно театром и читал книги, вернее, слушал, когда ему их читали.

Анчиполовский долго жил один, часто ездил в Москву навещать родителей и брата. Он был уже в таком возрасте, что никаких перемен в его жизни вроде бы не предвиделось. И вдруг — женился.

Его женой стала Алла Борисовна Ботникова, профессор Воронежского универ­ситета. Она читала лекции по иностранной литературе. Студенты обожали краси­вую, хотя уже немолодую ироничную женщину. Рассказывали, что у нее над кро­ватью висит подлинный рисунок Матисса...

Все недоумевали: что она нашла в этом усталом человеке? Лысый, все время жалуется: болит голова...

Как-то я случайно оказался рядом с ней в курительной комнате в нижнем фойе те­атра. Мы сидели в креслах за столиком. Говорили о книге Сервантеса «Дон Кихот».

— Эту книгу можно не читать, — говорила Алла Борисовна. — Вам все равно про нее расскажут рано или поздно. Судьба великих классических произведений. Их знают, не читая, со слов других людей, из кинофильмов, спектаклей и Бог знает еще откуда.

Алла Борисовна, говоря все это, много курила, доставая сигареты из блока в десять пачек, который лежал тут же на столике, рядом с пепельницей. Спички она тоже доставала из огромной коробки с портретом Яблочкиной на верхней крышке. И сигареты, и спички купила в антракте в театральном буфете.

Я немного робел перед этой умной и красивой женщиной. И хотя она уже по­рядком устала быть привлекательной, никак не хотела переходить в разряд ста­рух. И я тогда подумал: женитьба Анчиполовского — это не только любовная, это интеллектуальная история. Уже объединившись, они жили некоторое время в разных концах города на разных улицах. Никогда не могли обменять свои две ком­наты на двухкомнатную квартиру где-нибудь в одном месте.

Произошло грандиозное событие, чрезвычайное, сверхинтересное! Анчиполовский стал... телезрителем.

Алла Борисовна и Зиновий Яковлевич — два удивительных человека, схожих одной привычкой, несомненно. Они не хотели смотреть телевизор. Они предпочитали живой театр, книги. Алла Борисовна жила без телевизора; и Зиновий Яковлевич жил без телевизора. Встречались, говорили:

— Этот ящик!

Не желали его иметь в доме. Но, став молодоженами, первым делом купили телевизор. Анчиполовский пришел в редакцию и всем сообщил:

— Братцы, удивляюсь самому себе. Все утро, как дурак, смотрел телевизор: кино про шпионов... Интересно.

Я, БРАТ, БОЛЬНОЙ...

Собирались посылать всех сотрудников редакции с письмами в пять областей, где должны были их подписать пять секретарей обкомов. Речь шла о письме, в котором излагались соображения о необходимости сделать «Подъём» ежемесячным журналом.

Я пришел в комнату № 17, говорю:

— Слышал, вы едете с письмом в Белгород?

— Нет, — покачал он головой и объяснил, — я, брат, больной...

На этот раз Анчиполовский не похлопал себя, как обычно, по голове. А как-то странно встал, прошелся по комнате, опустил голову и сделал вялый неопределенный жест рукой.

— А что с вами?

Он вернулся за свой стол, сел, помялся немного:

— Мне надо ложиться на операцию.

Я удивился, и на лице у меня появилось искреннее сожаление.

— Да, брат, ложусь.

— А почему? Что за операция?

Он поерзал на стуле, махнул рукой. Из-под пиджака выглядывал беленький воротничок рубашки. Волосы на голове гладко причесаны. На столе гора рукописей. Весь рабочий день, склонив голову, он что-то вычеркивал, дописывал. Не утомим был в работе. Операция операцией, а литературный процесс остановить нельзя. И он каждый день приходил в «Подъём» и работал, зная, что находится на своем месте.

АНЧИПОЛОВСКИЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Зиновий Яковлевич много лет руководил отделом критики в журнале «Подъём», обеспечивая высокий (профессорский) уровень литературно-критических публикаций.

«Профессорский уровень» — точное определение. Это был уровень всей жизни Зиновия Яковлевича. И жена у него, Алла Борисовна Ботникова — профессор, зав. кафедрой зарубежной литературы ВГУ. И сам Анчиполовский стал профессором, читая лекции о театре в Воронежском институте искусств, где возглавлял кафедру, которую сам же и создал.

В его отделе печатались многие преподаватели Воронежского государственного университета. И сюда же пришел профессор Немировский, заведующий кафедрой древней истории и древних языков с «Воронежскими тетрадами» Мандельштама.

В журнале был отдел поэзии, но Александр Иосифович пришел к Анчиполовскому в отдел, потому что это были не только стихи, это была история литературы. Стихи Мандельштама требовалось не просто напечатать, их надо было спасти. Он принес рукопись как важный документ пребывания в воронежской ссылке поэта. Немировский объяснил значение «Воронежских тетрадей» в исторических категориях. Профессор предварил стихи Мандельштама смелым предисловием.

Поэты пишут стихи своей жизнью. Мандельштам отбывал ссылку в Воронеже в 1934–1937 годах. Эти три года уместились в несколько тетрадей, заполненных стихами. Наталья Евгеньевна Штемпель дружила с Мандельштамом и его женой. Она и сохранила рукописи поэта.

В 1942 году, когда немецкие мотоциклисты и танки появились на окраине Воронежа, Наталья Штемпель ушла пешком из города и уносила с собой «Воронежские тетради» Мандельштама. Берегла их в эвакуации, хорошо сознавая ценность стихов опального поэта. Профессор Немировский в доброе мирное время случайно познакомился с этой женщиной в поезде, узнал о существовании тетрадей. Как историк, он с этого момента принял на себя миссию сохранения трагического наследия поэта, для этого стихи надо было опубликовать. Воспринял это как миссию и Анчиполовский.

— Публикация неизвестных стихов известного поэта — это сенсация, — объяснял он главному редактору.

Отношение к Мандельштаму во властных структурах все еще было настороженным. Сталин лично отправил Мандельштама в ссылку и приказал арестовать потом. «Его толстые пальцы, как черви жирны...» — написал неосторожный Мандельштам. Несчастного, гонимого человека давно уже не было в живых, а жирные пальцы все еще сжимали горло поэта.

Но и во властных структурах нашелся смелый человек. Секретарь обкома Усачев с риском для себя дал разрешение напечатать «Воронежские тетради».

Я помню, как в редакции «Подъёма», возбужденно ходили из кабинета в кабинет сотрудники редакции и некоторые члены редколлегии, звонили по телефону в типографию, ожидая выход журнала со стихами Мандельштама.

Предисловие А.И. Немировского к «Воронежским тетрадам» цензура все-таки изуродовала, но «Подъём» № 1 за 1966 год вышел, и публикация «Воронежских тетрадей» стала сенсацией. После смерти А.И. Немировского (2007 год) был опубликован восстановленный текст предисловия к стихам Мандельштама.

Начинались времена удивительные. Установка Ленина «партийная жизнь — партийная литература» давно уже не являлась обязательной для художественного творчества. Цензура не мешала помнить осужденного партийной властью поэта.

Воронеж повесил в музее на видном месте картину Василия Криворучко «О.Э. Мандельштам. Кольцовский сквер».

Художник изобразил идущего по заснеженному скверу поэта с кепкой в руке, в распахнутом пальто. За его спиной виден слегка размытый белым морозным воздухом бюст Алексея Кольцова. Мандельштам не застегнул пуговицы пальто, не надел кепку на лысеющую голову. Такая у него была холодная жизнь в Воронеже, от которой нельзя застегнуться и укрыться под кепкой. Все — как в стихах из «Воронежских тетрадей»:

Я около Кольцова,
Как сокол закольцован.
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

На картине Василия Криворучко Мандельштам еще идет, как ходил по воронежским улицам.



Памятник О. Мандельштаму в Воронеже

Мандельштам, увековеченный в бронзе, стоит в Петербурге и Москве, где жил; в Воронеже, где отбывал ссылку; во Владивостоке, где умер в пересыльном лагере...

Находясь в ссылке, Мандельштам пытался угадать свое будущее и написал пророческие стихи:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж.
Уронишь ты меня или проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, —
Воронеж — блажь,

Воронеж — ворон, нож...

Воронеж не вернул его к прежней жизни. И уронил, и выронил, и в конце стихотворения, как символ смерти, «ворон и нож». Только был это не нож и даже не выстрел, а сыпной тиф. Так указано в официальной биографии.

Но есть и другая версия. Константин Кедров пишет в статье «Самый смелый из поэтов XX века»: «Официальной гибели великого поэта не существует. Лишь в послесталинские времена удалось выскрести засекреченное заключение о параличе сердца. А более тщательные исследования говорят, что Мандельштам погиб в лагере

во время санобработки, не выдержав избыточных паров хлорки. «Санобработка» или душегубка?»

После публикации «Воронежских тетрадей» в «Подъеме» — все стихи Мандельштама известны, печатаются в книгах.

Мандельштам дважды был арестован по приказу Сталина. Долго целился вождь, но все-таки убил.

Эдуард ПАШНЕВ

**Два стихотворения
памяти Мандельштама
КОЛЬЦОВСКИЙ СКВЕР**

Кольцовский сквер, шагает Мандельштам;
С рассвета он шагает до рассвета.
Художник это написал, а сам
Сидит с замерзшей кистью у мольберта.

Как написать, чтоб слышались шаги:
Идущего над пропастью, — до края.
Он — Мандельштам, он сослан за стихи.
И продолжает их писать, шагая...

О чем-то очень жарком, дорогом,
Чего не спрячешь ни в тетрадь, ни в папки.

В Кольцовском сквере снег лежит кругом.
И он идет распахнутым, без шапки.

Кольцовский сквер, поэта береги!
В белила кисть — дорога посветлела.
Такие у художника шаги,
Когда душа шагает, а не тело.

Художник выбрал для себя попутчика,
Из всех поэтов только одного.
Он — мастер, он ничуть не Криворучко,
Хотя фамилия такая у него.

Куда ведут шаги с того холста:
К Надежде Штемпель в тайные тетради?
И нет могилы, нет звезды, креста.
Есть лишь картина в раме, как в ограде.

Не разглядеть в неоновом огне
След ссыльного поэта на проспекте.
И будет он шагать и после смерти
В Никитинском музее на стене.

Художник с кистью на своем посту.
Дорогу к холмику искать не надо.
Шагает он по скверу, по холсту.
И скорбный звук шагов хранит ограда.

ОХОТНИК И ПОЭТ

Не спит, болит в ночи душа.
Болит душа, когда светает.
Вдруг уткою из камыша
За миг до выстрела взлетает.

И — нараспашку в мир большой.
Но выстрел из Кремля дуплетом.
Охотник встретился с поэтом,
С его тоскующей душой.

СТЕЛЛАЖ

Профессор университета и зав. отделом критики в журнале «Подъём» — книжные люди. У них не было в отдельных квартирах телевизоров, но было много книжных полок. Они перевезли их в квартиру, где поселились вместе. И еще: Зиновий Яковлевич перевез из родительской московской квартиры свои старые чехословацкие полки. Старенький стеллаж Аллы Борисовны оказался лишним. Супруги решили подарить его Роману Харитонову, который как раз, одновременно с ними, переехал в новую квартиру.

Вечером мы пришли за стеллажом. Дверь нам открыла усталая женщина. Она распахнула дверь в коридор. Стеллаж уже стоял в коридоре — на выходе. Мы его выволокли на лестничную площадку.

— Подождите, ребята, я сейчас вытру его, — сказала Алла Борисовна. Принесла тряпку. Вытерла пыль. Роман критически осмотрел подарок, сказал:

— Ничего.

— Конечно, ничего, — согласилась Алла Борисовна. — Я с ним семнадцать лет жила.

Роман посмотрел на нее, спросил:

— Можно я пройду в комнату, посмотрю, что у меня будет через 17 лет?

— Пожалуйста.

В комнате стояли книжные шкафы: рядами изящные полированные полки. Мы вышли на лестничную площадку. Алла Борисовна вышла вслед за нами с тряпкой в руках.

Прежде чем мы подхватили стеллаж, чтобы снести его вниз, Роман спросил:

— Не жалко вам расставаться со своим стеллажом? Все-таки жили вместе с ним 17 лет?

— Если соскучусь, приду к вам в гости навестить его, — сказала Алла Борисовна.

Потом уже мы узнали подробности. Пять лет назад, во время ухода за ней критика из журнала «Подъём», Алла Борисовна подарила ему стеллаж. Через пять лет все закончилось женитьбой. И вот она уже хозяйка в их общей квартире и провожает нас на улицу со стеллажом, с которого напоследок вытерла пыль и который уже второй раз стал подарком книжных людей: теперь молодому поэту Роману Харитонову.

